

Вадим Эразмович Вацуро

Избранные труды



Вадим Вацуро
Избранные труды

«Языки Славянской Культуры»

2004

Вацуро В. Э.

Избранные труды / В. Э. Вацуро — «Языки Славянской
Культуры», 2004

Вадим Эразмович Вацуро (1935–2000) – выдающийся историк русской литературы. В настоящее издание включены две большие работы В.Э.Вацуро – «Северные Цветы (История альманаха Дельвига – Пушкина)» и «С.Д.П.: Из истории литературного быта пушкинской поры» (история салона С.Д.Пономаревой), выходившие отдельными книгами соответственно в 1978-м и 1989 годах и с тех пор ни разу не переиздававшиеся, и статьи разных лет, также не переиздававшиеся с момента первых публикаций. Вошли работы, представляющие разные грани творчества В.Э.Вацуро: наряду с историко-литературными статьями о Пушкине, Давыдове, Дельвиге, Рылееве, Мицкевиче, Некрасове включены заметки на современные темы, в частности, очерк «М.Горбачев как феномен культуры». В.Э.Вацуро не только знал историю русской литературы почти как современник тех писателей, которых изучал, но и умел рассказать об этой истории нашим современникам так, чтобы всякий мог прочитать его труды почти как живой документ давно прошедшей эпохи.

© Вацуро В. Э., 2004

© Языки Славянской Культуры, 2004

Содержание

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ	5
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ	7
ТАЙНА ВАЦУРО	10
ПАМЯТИ В. Э. ВАЦУРО	17
I	18
ПРЕДИСЛОВИЕ[1]	18
Глава I	20
Глава II	43
Глава III	60
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Вадим Эразмович Вацуро

Избранные труды

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В 1999 году Вадим Эразмович Вацуро подготовил к печати сборник своих избранных статей «Пушкинская пора», выпущенный петербургским издательством «Академический проект» в 2000 году уже после смерти автора. В 2000–2001 гг. жена Вадима Эразмовича Тамара Федоровна Селезнева проделала кропотливейший труд, собрав из разрозненных рукописей книгу, наброски к которой В. Э. Вацуро делал на протяжении всей своей ученой деятельности, – «Готический роман в России» опубликован в 2002 году в Москве «Новым литературным обозрением». В 2003 году петербургская «Наука» выпустила вторым изданием монографию «Лирика пушкинской поры: „Элегическая школа“» (первое издание: СПб.: Наука, 1994).

Настоящее издание продолжает посмертную публикацию сочинений В. Э. Вацуро и составлено из тех его работ, которые, будучи однажды напечатаны, более не издавались.

В первом и втором разделах помещены большие исследования, выходившие отдельными книгами соответственно в 1978 и 1989 годах и ставшие сейчас раритетами: история альманаха А. А. Дельвига «Северные Цветы» и история салона С. Д. Пономаревой.

Третий раздел состоит из статей разных лет, смысл републикации которых – представить разные грани творчества В. Э. Вацуро. Здесь собраны мелкие заметки о Пушкине из «Временника Пушкинской комиссии», плановые институтские работы «Болгарские темы и мотивы в русской литературе 1820-1830-х гг.» и «Мицкевич и русская литературная среда 1820-х гг.», разыскания, связанные с подготовкой текстов для собраний стихотворений Хемницера и Некрасова в «Библиотеке поэта», предисловия к отдельным изданиям сочинений Дениса Давыдова и Дельвига, газетное интервью – реакция В. Э. Вацуро на ситуацию в стране после революции 1991 года («Будем работать в стол – благо опыта не занимать»), наконец, очерк о Горбачеве – неожиданный для академического ученого, хотя и вполне соотносящийся с общим в начале 1990-х годов стремлением историков прошлого концептуально осмыслить текущий момент.

Заключают настоящее издание две неопубликованные статьи о Е. Ф. Розене и А. И. Подоллинском, приготовленные для пятого тома биографического словаря «Русские писатели: 1800–1917» (рукописи предоставлены для публикации Л. М. Щемелевой и А. К. Рябовым).

При подготовке книги вполне осознанно были исключены лермонтовские сюжеты В. Э. Вацуро, поскольку есть надежда, что коллеги-лермонтоведы в скором времени осуществят издание, полностью посвященное этим сюжетам.

Отдельного издания требует и книга о русской цензуре, написанная совместно с М. И. Гиллельсоном – «Сквозь „умственные плотины“: Из истории книги и прессы пушкинской поры» (1-е изд.: М.: Книга, 1972; 2-е изд.: Там же, 1986), статьи, опубликованные в первых четырех томах биографического словаря «Русские писатели», и рецензии, в которых содержатся лапидарные, но настолько объемные историко-литературные оценки, что одна фраза иногда кажется программой целой монографии.

По мере преобразования страны, происходившего в 1990-е годы, пушкинская эпоха быстро уходила во времени от новых поколений – слишком многое из непушкинских эпох нельзя было полноценно познавать при советской власти, чтобы после ее падения продолжать интеллектуальную жизнь, ориентируясь на ценности золотого века русской культуры. После смерти В. Э. Вацуро пушкинская эпоха отодвинулась еще дальше – вряд ли в новых поколениях появится человек, о котором, так же как о Вадиме Эразмовиче, можно будет сказать, что

он знает ее почти как современник. А если появится – некому будет сказать, ибо пушкинская эпоха осталась ценностным ориентиром эпохи В. Э. Вацуро.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Жизнь В. Э. Вацуро ныне окантована двумя датами: 1935–2000. Но, перечитывая заново его книги и статьи, невольно ловишь себя на мысли, что застывшие в типографском шрифте фразы подчас звучат его живыми интонациями. Как недавно все это было!

Студентом филологического факультета ЛГУ Вацуро стал, недолго проучившись в медицинском институте. В ту пору кафедра истории русской литературы блистала целым созвездием великолепных ученых: И. П. Еремин, В. Я. Пропп, Б. В. Томашевский, Г. А. Бялый, Г. П. Макогоненко... Лермонтовский семинар вел В. А. Мануйлов.

О нем следует сказать особо. Не только потому, что он первым оценил способности своего воспитанника и вскоре впряг его в работу над «Лермонтовским семинарием», над изданием сочинений любимого поэта, а позже – и над Лермонтовской энциклопедией, которая долго казалась утопией неисправимого романтика. Однако важнее было обаяние личности Виктора Андрониковича. Кто знает, не будь с самого начала у Вацуро *такого* наставника, не стал бы ли он, при своей приверженности «трудом уединенным», ученым затворником?

Университетская кафедра русской литературы и академический Институт русской литературы (Пушкинский Дом) в ту пору были подобны сообщающимся сосудам, и после окончания университета В. Э. (хотя и не сразу) стал сотрудником ИРЛИ, что во многом определило широту и самое качество его научных интересов. Возникший как Пантеон русской литературы, Пушкинский Дом сконденсировал уникальные книжные, архивные и музейные собрания, которые вызвали к научной обработке и осмыслению. Теоретические штудии плохо здесь приживались. Конечно, должные в советское время идеологические постулаты накладывали свою печать и на академические труды, но традиционная приверженность лучших его сотрудников к конкретным историко-литературным фактам была своеобразным противоядием против поверхностных спекуляций.

Пушкинской школой для В. Э. стала работа над изданием пушкинских писем под научным руководством Н. В. Измайлова и постоянное сотрудничество во «Временнике Пушкинской комиссии», редактируемом академиком М. П. Алексеевым. Впрочем, В. Э. был своим человеком и в группе XVIII века, возглавляемой П. Н. Берковым.

Впервые имя В. Э. Вацуро внятно прозвучало по выходе, после многих препон, книги (написанной в соавторстве с М. И. Гиллельсоном) «Сквозь умственные плотины» в 1972 г. Посвященная столкновениям писателей пушкинской поры с цензурой, книга казалась произведением чуть ли не диссидентским. Если это было и так, то, право же, невольно. В самой пространной ее главе, «Подвиг честного человека», написанной В. Э., речь шла об общественной позиции Карамзина, который отнюдь не посягал на государственные устои, но выше всего ценил законы совести. Честь была понятием дворянского этикета. В своих заметках о дворянстве Пушкин размышлял: «Чему учиться дворянство? Независимости, храбрости, благородству (чести вообще). Но суть ли сии качества природные? Так; но образ жизни может их развить, усилить – или задушить. – Нужны ли они в народе так же, как например, трудолюбие? Нужны, ибо они la sauve garde <охрана> трудолюбивого класса, которому некогда развивать сии качества».

В исторических трудах аморальным поступком (этому учил Карамзин) становилось искажение подлинных событий. Невольным грехом здесь могло быть отсутствие твердых знаний. Преступлением против истины было заведомое ее искажение во имя идеологических догм.

Став сотрудником Группы пушкиноведения, В. Э. по долгу службы занимался эпохой, хорошо, казалось бы, изученной предшественниками. В 1960–1970-х гг. в академическом литературоведении были в моде так называемые коллективные труды, где автор зависел от навя-

занного ему общего плана. Общая же перспектива литературного развития пушкинской эпохи виделась вполне определенной: от классицизма – через романтизм – к реализму.

Но ведь реальная литературная жизнь вовсе не была столь формализована. Она была призванием и страстью конкретных людей. «Историю литературной жизни этого времени, – размышлял В. Э., – нужно искать скорее в письмах, дневниках, нежели в официальных протоколах, и то, что сначала складывается в кружке, затем заявляет о себе полным голосом на газетных и журнальных страницах. Сам же кружок интимен; он „функционирует“, он живет обычной домашней жизнью, с одной только особенностью: быт его олитературен, и чтение чужих произведений и писание своих такая же повседневность, как дружеский визит или вечернее чаепитие».

Под таким углом зрения была детально прослежена В. Э. Вацуро история издания восьми маленьких, изящных книжечек альманаха «Северные цветы».

«Это был типичный альманах и порождение „века альманахов“, исчезнувшее вместе с ним. Кружок Дельвига не складывался в литературно-общественную группировку, которая могла бы выступать с прямой декларацией. Его объединяли не программы, а общественные и эстетические тяготения. Он был тем, что современные социологи назвали бы „неформализованной группой“, а в ней особенное значение приобретали связи литературно-бытовые, связи людей „кружка“, но не литературной „партии“.

Те же принципы неформализованного изучения далекой эпохи заявлены в книге В. Э. Вацуро «С. Д. П. Из истории литературного быта пушкинской эпохи». В самом заглавии можно было заметить след определенной традиции, заявленной в свое время И. Л. Андрониковым в его «литературном детективе» «Загадка Н. Ф. И.» – о героине юношеских стихов Лермонтова. Вацуро детективами не увлекался. Ему была интересна литературная среда, живое очарование литературной жизни. «Художественный текст любой эпохи, – замечал он, – особый мир, живущий по своим законам, которые с течением времени сменяются другими и становятся „непонятными“. Нет ничего ошибочнее и наивнее столь часто встречающихся попыток найти здесь намеренную „загадку“, „тайну“, „шифр“. Загадки в старинных текстах встречают нас на каждом шагу, – но они созданы не писателем, а временем».

В общей картине литературного процесса салонные альбомы Софьи Дмитриевны Пономаревой – забавная мелочь, чуть ли не курьез быта. Но их любопытно и поучительно было не только перелистать, но и развернуть во времени, очеловечить: «В четвертом измерении ожидают люди, державшие перо и кисть, они движутся и говорят, и ведут жизнь, полную драматизма: жизнь увлечений, влюбленности, признаний и разрывов, – и перипетии ее оставляют на страницах альбомов галантные мадригалы, послания, посвящения, любовные циклы. Литераторы объединяются в кружки и партии, противоборствующие друг с другом; страсти кипят, выливаются на страницы журналов, порождают рукописную литературу».

Цени мельчайшие факты литературного быта, В. Э. как историк обладал абсолютным поэтическим слухом. Его книга об «элегической школе» или статья об истории русской идиллии замечательны не только скрупулезным анализом исторического движения поэтических жанров, но и артистически отобранными цитатами, звучащими неожиданно свежо и проникновенно. Вне этой среды, постоянного поэтического состязания было бы невозможно рождение литературных шедевров.

Доля В. Э. Вацуро в современной пушкинистике велика и весома, но и она – лишь малая часть его филологического подвижничества. Широта его научных интересов поразительна, но и это не исчерпывает его вклада в науку о литературе. Ученый академического склада, яркий представитель петербургской филологической школы, он был зачинателем фундаментальных литературоведческих трудов, будь то биографический словарь «Русские писатели. 1800–1917» или новое академическое Полное собрание сочинений А. С. Пушкина.

Трудно сейчас представить, насколько он загружен был повседневной и всегда срочной работой, какому количеству людей он был всенепременно должен то запланированную статью, то отзыв на диссертацию, то обещанную справку, да мало ли еще что – при его обширнейшем круге общения. Именно поэтому многие его главные книги остались ненаписанными. Времени иногда хватало только на этюд, филологическую миниатюру – как всегда, филигранно отделанную.

Требовательный (и щедрый!) редактор, скрупулезный текстолог, строгий систематик, он был прежде всего профессионалом. Но при этом лучшие его работы, снабженные многоэтажными сносками, отличаются артистическим изяществом и остроумием, подлинным пиршеством духа.

Артистизм и остроумие отличали его и в повседневном быту. Предметом его особенной гордости было воспоминание о том, как однажды – в Грузии! – он во время многолюдного застолья был единогласно избран тамадой. Этот, всеми признанный талант Вадима Эразмовича – особая тема. Вспоминается, например, такой случай. В 1997 г. мы вернулись в Институт после Четвертой международной Пушкинской конференции, которая прошла в Нижнем Новгороде и в Болдине. На заседании ученого совета в ходе отчета по этому поводу из зала раздалась саркастическая реплика: «Представляю, какие там были застольные заседания!» Пришлось специально объяснить, что банкет стоил остальных культурных мероприятий, так как руководил им Вацуро, а это всегда – высокая поэзия. Ученый совет сочувственно загудел, а после заседания к Вадиму Эразмовичу подошел Дмитрий Сергеевич Лихачев и сказал: «Вы знаете, что в прошлом году я отметил свое девяностолетие и уже больше не собирался устраивать застолий по поводу дней своего рождения. Но если Вы согласитесь вести стол, я, пожалуй, и в этом году устрою банкет для сотрудников Пушкинского Дома».

Он по-библиофильски любил книгу. Любимые его рассказы были о том, как иногда попадало в его библиотеку то или иное редкое издание. Вот один из них: «Роюсь как-то в старых книгах. Вижу: стопка потрепанных журналов, перевязанных веревочкой. Стоит это все вместе рупь. Но мне-то нужен лишь один из томов. Спрашиваю, нельзя ли взять только его – за ту же цену. Нет, говорят, – только вместе. Ладно, приношу домой весь этот хлам. Развязываю веревочку, и вижу в одном из журналов (вовсе не в том, который мне был нужен) знакомый почерк. Оказывается, – Александр Блок! С тех пор я не спору с букинистами».

И еще одна история про автограф. В Тбилиси мы были приглашены к очень почтенному аксакалу. Он похвастался, что в его архиве есть рукописи разных писателей – кажется, даже Пушкина. Да ну?! Архив (потрепанный чемодан, перекрученный проволокой) был извлечен из-под дивана. Там было много чего. Наконец отыскался и нужный листочек. «Ну как, похоже?» – «Батоно, – вежливо откликнулся В. Э., – это заслуживает специальной экспертизы. Я не знал, что в те времена уже были тетрадки в косую линейку.»

Всё это, конечно, безделки. Надо ли вновь повторять, что В. Э. Вацуро прежде всего был серьезным ученым, обладателем феноменальных знаний и редкого таланта! Думается, однако, что несерьезные воспоминания не противоречат творческой манере выдающегося филолога, который всегда чуждался патетики и велеречия, тонкой шуткой откликаясь на восхваления и благодарные реплики коллег. Вспоминая Вадима Эразмовича, понимаешь, насколько неверно представление об академическом ученом как обязательно о кабинетном затворнике. Он, как никто другой, ценил неллицеприятный профессиональный спор, дружеские розыгрыши, болтовню в пушки-нодомской курилке, когда походя, непритязательно, радостно мог одарить собеседника и блестящей идеей, и перспективой научного поиска.

С. А. Фомичев

ТАЙНА ВАЦУРО

В творческой судьбе Вадима Эразмовича Вацуро (30 ноября 1935 – 31 января 2000) условно есть тайна.

Уже в 70-е годы Вацуро обладал высочайшим авторитетом в профессиональной среде. Символическими вехами тут можно считать созданные в соавторстве с М. И. Гиллельсоном работы «Новонайденный автограф Пушкина: Заметки на рукописи книги П. А. Вяземского „Биографические и литературные записки о Денисе Ивановиче Фонвизине“ (1968) и „Сквозь „умственные плотины“: Из истории книги и прессы пушкинской поры“ (1972), однако в реальности неповторимый авторский метод Вацуро сложился еще раньше. Каждая новая его работа, начиная с лермонтовских штудий и комментариев к изданиям Хемницера (1963) и Некрасова (1967) в Большой серии „Библиотеки поэта“, была *новостью* в самом прямом и точном смысле слова, то есть меняла представления читателя (включая самых квалифицированных специалистов) об обсуждаемом предмете. Понятно, что свойством этим обладали работы, строящиеся на раритетном (архивном) материале, вводящие в оборот неизвестные прежде источники и факты. Например, статья «К изучению „Литературной газеты“ Дельвига – Сомова» (1968), где очень осторожно, но от того особенно доказательно Пушкину атрибутировалась рецензия на роман Василия Ушакова «Киргиз-кайсак», или «Из истории литературных полемик 1820-х годов» (1972), где одной из ключевых фигур старинных литературских битв предстал основательно забытый Александр Крылов, или «Г. П. Каменев и готическая литература» (1975) – список легко продолжить. Но тот же эффект возникал при знакомстве со статьями, трактующими сюжеты «понятные», казалось бы, давно изученные и не предполагающие каких-либо вопросов и удивлений. Здесь показательны статьи «Ранняя лирика Лермонтова и поэтическая традиция 20-х годов» (1964), «Пушкин и проблема бытописания в начале 1830-х годов» (1969), монографический анализ послания «К вельможе» (1974) и совершенно ошеломительная даже для привычных к смелым и точным построениям В. Э. статья «"Великий меланхолик" в „Путешествии из Москвы в Петербург“» (1977). Книга об истории альманаха «Северные цветы» (1978) стала, по сути дела, сверхплотным конспектом истории русской литературы 1824–31 гг., требующей от читателя непривычной сосредоточенности буквально на каждом слове: предельная ясность слога невольно вводила в заблуждение – сама собой вспоминалась гоголевская характеристика прозы Пушкина («бездна пространства»).

Казалось, что совершеннее и глубже писать о словесности просто невозможно, а меж тем впереди были встречи читательской аудитории и ученого цеха с такими шедеврами, как «Последняя повесть Лермонтова» (1979), «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» (1981), тома стихотворений Дениса Давыдова (1984) и Дельвига (1987), «И. И. Дмитриев в литературных полемиках начала XIX века» (1989), «Поэтический манифест Пушкина» (1991), «В преддверии пушкинской эпохи» (1994; предисловие к двухтомнику «Арзамас» под общей редакцией Вацуро и А. Л. Осповата; издание это из-за общеизвестных тягот начала 90-х годов вышло в свет с большим опозданием), наконец, монография «Лирика пушкинской поры: „Элегическая школа“» (1994). Исчислено далеко не все даже из «капитальных» работ, а ведь должно вспомнить еще о многом. О словарных статьях (прежде всего, в «Лермонтовской энциклопедии» и четырех томах «Русских писателей»). О «заметках филолога», ритмично появлявшихся в журнале «Русская речь». (Они стали ядром книги, вышедшей в 1994 году под характерным «вацуровским» названием – «Записки комментатора».) О подвижнической текстологической и редакторской работе над новым академическим изданием Пушкина («пробная» версия первого тома появилась в 1994 году, окончательная – в 1999). О рецензиях, в которых В. Э., точно выявляя неповторимые творческие индивидуальности коллег и фиксируя внимание на своеобразности их исследовательских решений, всегда так-

тично, но твердо обнаруживал свою – корректирующую – позицию. Особенно важны отклики на исследование А. Г. Тартаковского «1812 год и русская мемуаристика» (1981), книгу Л. Я. Гинзбург «О старом и новом» (1983), монографии Ю. М. Лотмана о Пушкине (1982) и Карамзине (1989); здесь же должно упомянуть о некрологах, которыми В. Э. почтил своих наставников: академика М. П. Алексеева и Н. В. Измайлова, и о предисловии к посмертному изданию пушкинских статей Н. Я. Эйдельмана (2000) – работа, посвященная трудам близкого друга и, выражаясь старинным слогом, «со-чувственника», стала публичной собственностью уже после кончины В. Э. В теории все знают, что деление работ настоящего ученого на «собственно научные», «прикладные», «популярные» и «справочные» носит условный характер на практике зачастую дело обстоит иначе. Даже истинные мастера подчас, обращаясь к популярным жанрам, облегчают свою задачу, предлагая упрощенные вариации прежде разработанных и обнародованных тем. Не обладая столь мощным и очевидным просветительским темпераментом, что был присущ, например, Н. Я. Эйдельману или Ю. М. Лотману, тонко чувствуя аудиторию и учитывая специфику избранного жанра (что сказывалось на слоге и организации справочного аппарата), В. Э. использовал любую возможность, дабы выговорить прежде несказанное, актуализовать важный смысловой нюанс, аккуратно сместить привычные акценты. В этом смысле для него не было различий меж предисловием к массовому изданию, эссе, написанным по просьбе редакции журнала к очередному юбилею (так, автор этих строк буквально выклянчивал в 1987 году у В. Э. для «Литературного обозрения» «хоть что-нибудь» – в итоге появился «Опыт прямотуши», выросший из тщательного прочтения пушкинского письма к Плетневу, блистательный этюд о совсем непростых отношениях первого поэта и его скромного «оруженосца») и «плановой» работой для замусоренного словоблудием типового сборника ученых трудов, выходящего под академической эгидой. Одним словом, редакция «Нового литературного обозрения» имела все основания предварить выпущенный к шестидесятилетию В. Э. Festsehrift «Новые безделки» точно сформулированным тезисом: «Вадим Эразмович Вацуро многие годы олицетворяет этос филологической науки». В этом сомнений не было и нет.

Есть нечто иное. Едва ощутимое при жизни великого историка литературы и «уплотнившееся» после его безвременного ухода. Задуманная в молодости и писавшаяся всю жизнь книга о судьбе готического романа на русской почве так и осталась незавершенной. Разумеется, многочисленные статьи (начиная с опубликованного в 1969 году под искореженным названием, в котором не нашлось места взрывоопасному «клерикально-мистическому» термину, исследования «Литературно-философская проблематика повести Карамзина „Остров Борнгольм“») и любовно собранный, выстроенный и выверенный вдовой исследователя Тамарой Федоровной Селезневой том «Готический роман в России» (2002) содержат бесценную информацию и одаривают великим множеством пронизательных наблюдений, открывающих головокружительные научные перспективы. (Кстати, отнюдь не только для филологов, но и для историков идеологии, культурологов, искусствоведов.) Но все же совокупность «готических» текстов (и набросков, планов, отголосков темы в работах о совсем иных предметах) Вацуро – это «материалы», а не монография. Мы ощущаем величие замысла, пленяемся выразительными деталями (заметим, однако, что для В. Э. отдельный новый факт или частная концепция никогда не были самодостаточными ценностями!), в лучшем случае угадываем потенциальные сопряжения сюжетов и контуры общей организующей мысли, но не можем достичь целого, судя по всему – очевидного для Вацуро.

Сходно обстоит дело и в другой области интересов В. Э. Он знал, что делал, вынося на обложку монографии об элегической школе слова «Лирика пушкинской поры». Книга эта, с исключительной точностью рисующая движение «центрального» лирического жанра начала XIX века, высвечивающая его трудный генезис, расширение семантических и стилистических горизонтов, способность служить полем столкновения различных духовных, идеологических и эмоциональных комплексов (страницы, посвященные «диалогам» Андрея Тургенева и Карам-

зина, Тургенева и Жуковского, Жуковского и Батюшкова, относятся, безусловно, к высшим достижениям русской филологии), книга эта мыслилась (и писалась, на что есть прямые указания в тексте) как преамбула, введение в главный – пушкинский и пушкиноцентричный – сюжет. Здесь та же история, что с «готикой». Читая предисловия к томам Дельвига и Дениса Давыдова (чья эволюция не остановилась на элегическом цикле, рассмотренном в «Лирике пушкинской поры»), главы о поэзии пушкинского круга, Баратынском, поэзии 1830-х годов во втором томе «пушкинодомской» «Истории русской литературы» (1981), очерки истории отдельных поэтических жанров (элегии, идиллии, стиховой драмы), словарные и не словарные статьи о конкретных поэтах, мы в какой-то мере угадываем единую большую концепцию (ее то ли проект, то ли дайджест был написан В. Э. по просьбе американских коллег на рубеже 1997-98 гг. и недавно опубликован в № 59 «Нового литературного обозрения»), – но тоже только угадываем. Очень плотное, „контекстное“ письмо Вацуро, постоянно устанавливающего „странные сближения“ меж, казалось бы, весьма друг от друга отдаленными культурными и литературными феноменами, парадоксальным образом то и дело обнаруживает смысловые пробелы. То, что нам кажется лакунами, возможно, представлялось исследователю само собой разумеющимся, не требующим разжевывания. А возможно, напротив, оставалось для него неразрешимой проблемой. Простоты, что хуже воровства, Вацуро не любил. И об ограниченности исследовательских возможностей, о неизбежности в иных случаях временно руководствоваться недоказуемой строго гипотезой, он напоминал не раз. Как бы то ни было (а было, думается, по-разному), сегодняшний читатель Вацуро (в первую очередь это относится к его коллегам) в какой-то мере обречен заниматься реконструкцией общего замысла ученого. Конечно, эта проблема встает и при обращении к наследию других крупных гуманитариев, но в случае Вацуро приобретает особенную остроту, неотделимую от вполне отчетливой печали: увидеть то, что видел В. Э., нам не удастся никогда.

И здесь естественно возникает третий – наиболее наглядный и наиболее горький – сюжет. Это, разумеется, Лермонтов, которым Вацуро занимался всю жизнь, которого он знал и понимал, как никто другой. Здесь могут возразить, указав на то, что из-под пера Вацуро вышли не только работы, трактующие «частные» и «специальные» сюжеты (от «Лермонтова и Марлинского», 1964, до «Литературной школы Лермонтова», 1986), но и безусловно интегрирующий все наработки очерк о поэте в седьмом томе «Истории всемирной литературы» (1989), что он буквально «выдышал» «Лермонтовскую энциклопедию» (на официальном языке это называлось «заместитель главного редактора»), что Лермонтов – вообще писатель «простой» (творчество компактно, а биография, по слову Блока, «нищенская»), и уж о нем-то Вацуро суммой своих публикаций сказал все, что не успели открыть прежде. Частично принимая эти резонные соображения, приходится констатировать: мозаика сама собой не складывается, втиснуть в раздел коллективного труда монографию было не под силу даже такому изощренному литератору, как В. Э., очень многие статьи «Лермонтовской энциклопедии» (при непреходящем значении этого замечательного издания) писаны совсем не в духе Вацуро (некоторые же из них сущностно противостоят его научным, эстетическим и человеческим идеалам), а наследие Лермонтова и после работ Вацуро (точнее – вследствие существования этих работ) требует обобщающего концептуального труда. Такую книгу мог написать только Вацуро. (Понятно, что это не принижение авторов классических исследований, от П. А. Висковатова до Д. Е. Максимова. И тем более не слагбаум на пути будущих лермонтоведов.) Не написал. Некоторых собеседников добродушно дразнил, рассказывая о якобы имеющемся сочинении под условным названием «Почему я никогда не напишу книгу о Лермонтове».

Так почему же? Почему ни «готика» (ныне собранная из фрагментов), ни «лирика пушкинской поры» (не завершена), ни лермонтовiana (сведение *всех* лермонтоведческих штудий В. Э. под одной обложкой и с надлежащей рефлексией представляется серьезной и насущной задачей), ни статья о Пушкине, которую В. Э. обещал редакции словаря «Русские писатели»,

не стали «осязаемыми» фактами? Ответов, как водится, много, и ни один из них невозможно считать окончательным.

Первый ясен: Вацуро работал в советской системе, что ставила идеологические препоны на пути любого гуманитария (так, в крепком подозрении для официальных инстанций долгое время находился любимый В. Э. готический роман), рассматривала ученого (коли числится он в академической структуре и получает жалованье) как чиновника, обязанного выполнять поставленные перед ним задачи и не слишком выделяться из коллектива иных чиновников. Прибавим сюда высокое чувство долга («плановость» работы не могла сказываться на ее качестве), необходимость заработка (не столь завидны были оклады сотрудников Пушкинского Дома, а за предисловия и журнальные статьи платили прилично), человеческую отзывчивость (если просит хороший знакомый и о вообще-то полезном деле, то отказывать неудобно; даже если знакомый не так уж хорош, а работа, сданная в срок, не устроит какую-нибудь инстанцию: так легло в стол предисловие к «Трем повестям» В. А. Соллогуба – в 1978 году в «Советской России» решили, что лучше издать книгу вовсе без вступительной статьи, чем с «сомнительным» текстом В. Э.). Не забудем и об уже упоминавшемся желании использовать любой случай (любую площадку) для обнародования своих наблюдений и счастливую (или несчастную?) способность живо интересоваться буквально каждым сюжетом, находить в нем «свое», встраивать его в грандиозный общий чертеж истории словесности. Ясно, что до «главного» руки доходили не всегда.

Но не обойтись без оговорок. «Умственные плотины» автор соименной книги, когда хотел, преодолевать умел – издание книги о николаевской цензуре (без старательно отцензурированного слова на титуле) тому порукой. (Актуальный гражданский смысл предельно историчной работы Вацуро и Гиллельсона был внятн в пору ее публикации и не раз обсуждался в печати: по нужде прикровенно – первыми рецензентами, прямо – в новейшие времена, благодарными филологами младшего поколения, чье становление прошло во многом «под знаком Вацуро».) С годами личный авторитет В. Э. как в академической среде, так и у издателей решительно вырос, и вырази он категорически желание вставить в научный план монографию, издать в «Художественной литературе» или «Советском писателе» книгу о Лермонтове, ему бы, вероятно, не отказали. (Вышла же «Лирика пушкинской поры» с академическим грифом.) Конечно, тут не обойтись без «личных» мотивов, без разговора об особенностях характера В. Э., уже начатого первыми мемуаристами, о его интеллигентности и толерантности. Но прежде надобно сказать о другом.

Уже цитированная редакционная преамбула к сборнику в честь шестидесятилетия Вацуро открывается положением, на мой взгляд, куда более спорным, чем следующая за ним аттестация юбиляра. «Когда придется перечислять все, чем мы могли гордиться в миновавшую эпоху, список этот едва ли окажется длинным. Но одно можно сказать уверенно: у нас была великая филология». Но «великая филология» – это не совокупность замечательно талантливых исследователей (их в 70-80-е годы и впрямь было не мало), помноженная на ажиотаж изголовавшейся по любой «исторической», «философской», «религиозной» фактуре публики, с равным смаком и результатом потребляющей статьи Лотмана и романы Пикуля, историософскую публицистику Л. Н. Гумилева и эссе Аверинцева, труды академика Лихачева и насквозь «литературно-идеологические» картины Глазунова. «Великая филология» предполагает смысловое поле, в котором могут сосуществовать (и бороться) разные научные традиции, но наличествуют четкая шкала ценностей, возможность взаимопонимания разномыслящих исследователей, преемственность поколений, осмысленное разделение труда, различие «науки» и «эссеистики» (что не отменяет возможности для конкретного гуманитария выступать в двух ипостасях – но по своей воле, а не «силою вещей»!) и, наконец, уж извините, отсутствие постоянного – прямого и косвенного – идеологического диктата. (Простенький, но характерный пример: текстологически образцовый, содержащий обширный раздел редакций и вариантов том

Дениса Давыдова в «Библиотеке поэта» вышел под названием «Стихотворения». В преамбуле к примечаниям Вацуро констатировал: «Настоящее издание стихотворений Д. не является полным: в него не вошли эпиграмма № 59 по Изд. 1933 <...> и памфлет „Голодный пес“». Ну да, в 1984 году нельзя было затрагивать «болезненную» польскую тему – даже решительному имперцу и полонофобу Денису Давыдову.) Какая уж тут «великая филология», когда чуть не каждое слово пробивается на свет с трудом и еще неизвестно кем и как будет расслышано.

Научная деятельность наших лучших гуманитариев оказывалась в то же время и борьбой за нормализацию культурного пространства, и Вацуро тут не был исключением. Но всякая идеологическая борьба (вовсе не входящая в прямые задачи историка культуры) не только отнимает силы и нервы, но и сказывается на творчестве. В конце 1920-х годов формалисты задавались вопросом «как теперь быть писателем» (а в подтексте слышалось: «и филологом»). В последние годы вопрос этот обсуждается с не меньшим энтузиазмом (и, похоже, грозит не меньшими издержками). Но не стоит думать, что, загнанный вглубь (в кухонные разговоры или подполье), он не существовал в «вегетарианский» период советской истории.

Реакцией на всегдашний советский заказ на «монументальность» стала культивация «малых жанров» (комментария и разросшейся сноски). Реакцией на томительное словоблудие и априорность официоза – абсолютизация «точных методов» и изобретение «птичьего языка». Реакцией на невозможность публичного обсуждения целого ряда ключевых гуманитарных проблем – безответственное писание в стол (вредящее ученому не меньше, чем поэту) либо проговаривание их в сознательно эзотеричной манере, способной незаметно нивелировать и сильную мысль. Реакцией на бессмысленный социологизм, примитивный атеизм, неприменимый культ революционеров (истинных или назначенных таковыми), стали истовые поиски духовности, народных начал и подчас пародийная религиозность. А реакцией на эту постепенно набиравшую силу моду – отказ от конкретного и вдумчивого обсуждения религиозно-философских вопросов, весьма значимых для писателей минувших веков. Фантазмов и химер (причем совсем не обязательно созвучных официальной идеологии или корыстных) 70-е годы породили не меньше, чем ярких свершений.

Размышляя о советской литературе, М. О. Чудакова однажды верно заметила: великий писатель всегда выстоит и сохранит себя (покуда/если его не убьют). То же касается и настоящих филологов. Но выморочное состояние литературной среды, о котором вела речь Чудакова, пагубно сказывается не только на общем движении словесности (филологии, культуры), но и в той или иной мере воздействует даже на самых талантливых людей. Разобщенность гуманитарного сообщества, двусмысленные отношения с потенциальным читателем, абсолютизация той школы, в которой прошло научное и личностное становление ученого (для В. Э. такой школой, безусловно, был Пушкинский Дом, преданность лучшим академическим традициям которого не только ощущается в любой работе Вацуро, но и настойчиво им педалируется), оторванность (конечно, неполная, конечно, целенаправленно преодолеваемая) от широкого контекста гуманитарной мысли XX века, а иногда и от исследований, непосредственно входящих в круг специальных интересов – одним словом, то, что Блок некогда назвал «отсутствием воздуха», даром не прошло ни для кого из лучших «подсоветских» гуманитариев. Их интеллектуальное и гражданское служение, их роль в выведении современников из морока скудомыслия и формировании новых поколений исследователей, их (вспомним любимые Вацуро и не им одним слова Пушкина о творце «Истории государства Российского») «подвиг честного человека» сейчас вызывает не только благодарность, но и подлинное изумление. Но это были живые люди, а не сказочные рыцари – и потому каждому выпали свои потери. Вацуро не дописал те капитальные труды, к которым был предназначен.

Или все-таки не был? Почему давление времени в его случае обусловило именно такой тип утраты и вариант судьбы? Сопоставляя «литературную личность» В. Э. с «литературными личностями» его выдающихся коллег-современников, обнаруживаешь черту, отличаю-

щую Вацуро от едва ли не всех интеллектуальных лидеров отечественной гуманитарии конца прошлого века – отсутствие выраженной харизмы. Читая труды Л. Я. Гинзбург или Д. С. Лихачева, Ю. М. Лотмана или Н. Я. Эйдельмана, С. С. Аверинцева или М. Л. Гаспарова, В. Н. Топорова или Вяч. Вс. Иванова (список можно продолжить), получаешь некое представление об их «статии» – темпераменте, духовных ориентирах, симпатиях и антипатиях. Не случайно их тяготение к публичности, как не случайны их постоянные выходы за пределы филологии – в философию, публицистику, мемуары, прозу и поэзию. Ничего подобного у Вацуро нет: его статья о М. С. Горбачеве кажется именно что случайной (это никак не значит: не интересной). В книгах и статьях Вацуро почти не ощутим его дар остроумца, изысканного и склонного обыгрывать свою «куртуазность» собеседника, мастера искрометных экспромтов, хотя наделен им был В. Э. сполна и в ход его пускал постоянно. (Свидетельством тому прелестная «Вацурина», составленная Т. Ф. Селезневой и изданная «домашним» тиражом, а также воспоминания друзей, коллег и учеников В. Э. Думаю, что вспомнить такого Вацуро может едва ли не каждый, кто с ним когда-либо разговаривал. Тут могу сослаться на свой опыт совсем не частого и никак не интимно доверительного общения с В. Э.: казалось, он просто не мог не шутить.)

Установка на устранение авторского «я» неотделима от скрупулезности в работе с любым материалом, от недоверия к слишком устойчивым репутациям (всякий литературный факт и всякая человеческая судьба сложнее, чем нам кажется) и к слишком резким научным новациям (сложнее-то сложнее, но гонясь за привидевшейся истиной легко утратить то, что было с трудом установлено; замечательный пример такой чуть ироничной осмотрительности – статья «Еще раз об академическом издании Пушкина», 1999), от такта, с которым В. Э. касается «экзистенциальной» проблематики, всегда мерцающей сквозь призму исторических разысканий, наблюдений над стилем, выявлением конституирующих признаков жанра или школы, открытием источников и реминисценций.

Сколь важны для Вацуро были «последние вопросы», можно судить по двум небольшим фрагментам из совершенно разных работ. Одна посвящена поэтике, другая – истории словесности, в интересующем нас эпизоде особенно тесно сплетенной с просто историей. Анализируя «Метель» (статья «Повести покойного Ивана Петровича Белкина»), Вацуро пишет: «В полном соответствии с традиционным сюжетом в конце рассказа падают препятствия к соединению влюбленных, которые оказываются мужем и женой; однако вряд ли найдется счастливый конец (типовое и до какой-то степени верное представление о развязке „Метели“. – А. Н.), который в такой мере был бы окрашен тревожными интонациями». И далее, процитировав общеизвестную сцену опознания Бурмина: «Эта внезапная бледность героя, жест смятения и раскаяния, прерывистая, оборванная авторская ремарка, – что это, как не знак возникающей спонтанно новой, неожиданной психологической коллизии? Автор психологических элегий и „опытов драматических изучений“, Пушкин уже давно пришел к выводу, что самая счастливая любовь таит в себе возможности диссонансов и взаимных непониманий». Это о литературе.

А вот – о поэте. «В ночь с 12 на 13 июля 1826 года Дельвиг вышел из дома. Было облачно и дождливо, и многочасовая прогулка могла стоить ему дорого. В феврале его неделю била лихорадка, и всерьез опасались воспаления. Откуда он узнал, что на рассвете 13-го совершится казнь и увезут в Сибирь осужденных на каторгу – в их числе Ивана Пущина? Этого не знал в Петербурге почти никто. Путята пытался узнать о времени экзекуции у Николая Муханова, адъютанта петербургского генерал-губернатора, но и тот ничего не знал положительно» («Северные цветы», глава «Безвременье»). И далее: о тех, кто все-таки пришел, о трудностях перемещения по городу с разведенными либо перекрытыми стражей мостами, о неожиданных встречах с молчаливыми знакомцами, об ожидании, о возведении виселицы, чтении приговора, сжигании мундиров, об осужденных, переодетых в арестантское платье, что «шли бодро и взорами искали знакомых в толпе». «Видел ли Дельвига Иван Пущин, успел ли Дельвиг попрощаться взглядом с лицейским товарищем?» И потом, запечатлев тремя строками

увиденную Дельвигом казнь пятерых, что растянулась на два акта: «И, может быть, он слышал ропот – толпы ли, казнимых или казнящих? – ропот ужаса, сострадания или негодования. Он не рассказывал об этом, и вообще в его семье избегали говорить о происшествиях 14 декабря».

Эмоциональная вовлеченность автора в давно минувшие события (за которыми видятся иные мятежи, иные казни) сопоставима лишь с предельной точностью сообщаемых фактов и суггестивной энергией прозы, где умолчания действеннее любых описаний. Такого рода «романных» вкраплений в книгах, статьях и кратких биографических справках работы Вацуро совсем не мало. Он умел извлекать психологию (неповторимую личность) и сюжет (непредсказуемую историю) из почти любого материала. Но романов, как известно, не писал. Может быть, считая их жанром легкомысленным. А может быть, напротив, слишком трудным, требующим еще большего знания о человеке и истории. Может быть, полагая, что подлинный читатель распознает гипотетическое целое по намеку и оценит идеальное чувство меры. (Тут невольно вспоминаются незавершенные, но всегда таинственно сопряженные друг с другом замыслы Пушкина). А может быть, не видя того, кто мог бы оценить по достоинству грезящееся смысловое целое.

Кажется, что-то подобное (ускользающее от однозначных формулировок, «воздушное», но властное) заставляло В. Э. откладывать давно лелеемые большие начинания и переключаться на новые сюжеты (всегда, впрочем, как-то да завязанные на старые), на выполнение очередного – издательского или пушкинодомского – заказа, на редактирование и внутреннее рецензирование чужих работ (порой сводящееся к их переписыванию). Конечно, были тут и иные причины (частью обсужденные выше), но была и личная тайна Вацуро. Его шутка о том, что книгу о готическом романе можно писать и после смерти («Призрак... в 12 часов... с ударами колокола является в библиотеке... и читает *тени книг*»), была шуткой. Но не только. И не только о «готической монографии». То совершенное знание, к которому осторожно и последовательно приближался поразительно многосторонний и удивительно тонко мыслящий исследователь, вероятно, здесь недостижимо. Даже для Вацуро.

Мы никогда не прочтем ни полной версии «Готического романа в России», ни второй части «Лирики пушкинской поры», ни книги о Лермонтове. Но представить себе их чуть более конкретно мы можем и должны. Это и есть продолжение научной и культурной традиции. Ее обрыву Вацуро опасался и упорно этому противодействовал. Поэтому так ценил работы предшественников и старших коллег, поэтому систематично и тактично пестовал младших. Он знал, что хотя наука и творится общим тщанием, всякий настоящий ученый неповторим и незаменим, что из наследия каждого мастера можно извлечь то, чего у иных не сыщешь. Надо только уметь читать филолога – так же, как поэта, прозаика, философа, мемуариста, критика... Вывод понятен: прозрачные книги и статьи В. Э. требуют особого внимания; их читателю надлежит следить не только за тем, что происходит с «героями» (будь то писатели, идеи, слова или жанры), но и за скрытым автором, за движением его свободной и строгой мысли, за тем, что уходит в подтекст повествования. Язык (или, если угодно, метод) Вацуро нуждается в изучении (думается, не вполне и не для всех понятным он был и при жизни ученого) – на этом пути пока сделаны лишь первые шаги. Хочется верить, что одним из них станет эта книга.

А. С. Немзер

ПАМЯТИ В. Э. ВАЦУРО

Уход Вадима Эразмовича Вацуро провел по ткани нашей общей жизни резкую разделительную черту. Теперь уже ясно, что русской гуманитарии никогда не быть такой, какой она некогда была. И дело здесь не в символике смены веков и тысячелетий. В сущности, его расхождение с временем началось довольно давно.

Когда на закате советской эпохи я впервые увидел Вацуро, он уже казался небожителем, занесенным к нам из заветной пушкинской поры. Казалось даже немного странным, что именно он, вместе с М. И. Гиллельсоном, написал «Сквозь умственные плотины» – книгу, поражающую как раз жгучим чувством актуальности и точным ощущением социальной востребованности.

Идея напечатать в те годы работу о цензуре, о сопротивлении цензуре, о нравственном и литературном выживании под цензурным гнетом даже задним числом производила впечатление авантюры. Надеюсь, те, кто знает, когда-нибудь расскажут, как Вацуро и Гиллельсону удалось ее реализовать...

Центральный раздел книги – «Подвиг честного человека» – был написан Вадимом Эразмовичем. В нем речь шла о том, как Пушкин в николаевское царствование отстаивал «своего Карамзина», видя за системой политических взглядов прежде всего борьбу за человеческое достоинство, право сохранять личную независимость перед лицом любых обстоятельств.

Руку Вацуро было легко узнать по виртуозному выявлению подтекстов и контекстов, но важнее всего в книге или, по крайней мере, в этой главе была смысловая перспектива. Карамзин, увиденный Пушкиным, увиденным Вацуро, – взгляд был обращен из несвободного времени в относительно более свободное, что облегчало разговор и подчеркивало преемственность. В сущности, это был новый способ думать о прошлом, освобожденный от лобовых аллюзий, но остросовременный по абсолютно экзистенциальному ощущению истории.

Разрабатывать найденную жилу пришлось другим. Вацуро же обрел свою независимость в бесконечном оттачивании профессионального мастерства, когда каждый следующий шаг определен внутренней формой полностью покоренного материала. С годами его сюжеты становились все камерней, техника все безукоризненней, голос все чище и отрешенней. Он все больше проникался полновесной легкостью словесности, которую изучал, тем ее стилистическим свойством, которое Лидия Яковлевна Гинзбург назвала гармонической точностью.

Манера Вацуро-исследователя делается особенно рельефна, если сравнить ее с интеллектуальным почерком Лотмана, едва ли не единственного его соперника по глубине понимания и непосредственному ощущению пушкинской эпохи. У Вацуро нет и следа лотмановской могучей топорности, духа веселой провокации, вызывающей к додумыванию и полемике. Наблюдения Вацуро не тянут, да, пожалуй, и бессмысленно развивать, они завершены и обладают той мерой внутренней самодостаточности, которая превращает науку в искусство.

Последние его заметки читать жутко, как пушкинские антологические стихотворения 30-х годов. Они, кажется, отвечают на вопрос, доступно ли смертным совершенство. Некоторым доступно, но дается оно ценой такого свирепого самоограничения, такого тотального отказа, что поневоле задумаешься, стоит ли об этом мечтать. Похоже, что человек, который умеет так работать, уже не жилец.

Как хочется верить, что теперь он свободен, и в блаженном Элизии его тень беседует с тенями Пушкина и Карамзина. Видит бог, им есть о чем поговорить.

А. Л. Зорин

I

«СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ» ИСТОРИЯ АЛЬМАНАХА ДЕЛЬВИГА-ПУШКИНА

*Памяти своих близких —
Эразма Григорьевича Вацуро,
Сергея Валентиновича Андриевича
посвящает автор*

ПРЕДИСЛОВИЕ¹

Восемь маленьких изящных книжек в осьмушку, с гравированными «картинками» и виньетками, изображающими лиры и гирлянды цветов. Альманах «Северные цветы» — на 1825, 1826 и так далее, вплоть до 1832 года. В первых двух книжках значится: «собранные бароном Дельвигом», в третьей — «изданы бароном Дельвигом». Далее имя исчезает. С фронтисписа книжки на 1828 год смотрит на нас лицо Пушкина.

Пушкинские стихи — в каждой книжке: «Песнь о вещем Олеге», отрывки из «Онегина», из «Цыган»; «19 октября», «Граф Нулин», «Воспоминание», «Моцарт и Сальери», «Бесы», «Анчар»... Около шести десятков произведений.

Жуковский. Баратынский. Дельвиг. Языков. Вяземский. В отделе прозы — Гоголь. Почти все пушкинское окружение.

«Второй ряд»: Плетнев, Туманский, Сомов, Подолинский. Третий ряд, четвертый и пятый. Иван Балле.

Через полтора десятилетия Гоголь будет со вздохом вспоминать о «благоуханном альманахе», а Белинский поражаться странному соседству имен великих и малых. К этому времени уйдет в прошлое эпоха альманахов, и невероятный успех «Северных цветов» в течение восьми лет будет казаться литературным анахронизмом.

Восемь лет — целая история. Можно проследить восьмилетнюю историю журнала или газеты.

Но что такое история альманаха, который собирают один или два человека от добровольных щедрот даятелей? Издатели — во власти случая и стихии, которой не всегда могут управлять. Каждый год, выпустив книжку, они совершенно таким же образом принимаются за следующую. История альманаха движется по замкнутому кругу.

Так ли это? И да, и нет. Имена основных участников повторяются из книжки в книжку; это одна среда, один литературный круг. Из него вышли «Северные цветы», и он наложил на альманах свою неизгладимую печать.

Читая альманах, мы обнаруживаем и явные признаки целенаправленной работы издателей. Она сказывается то в отборе стихов, то в критических суждениях, а иногда в самом построении книги. Люди все же направляли альманах, и эпоха с ее событиями общими и частными, закономерными и случайными меняла характер книжек, их содержание и состав, оставляя на альманашных страницах свои явственные следы.

История издания — это часть истории издателей.

В нашей исторической хронике мы попытаемся собрать разрозненные факты и заглянуть за кулисы альманаха, чтобы рассмотреть его как результат неких процессов в русском обществе

¹ Печатается по изданию: Вацуро В. Э. «Северные цветы»: История альманаха Дельвига — Пушкина. М.: Книга, 1978.

и литературе 1824–1832 годов. Нам придется касаться истории литературы, эстетики, социологии и даже быта – но не это будет нашей главной задачей.

Нас будет интересовать, как, почему и в каком облике из всего этого многообразия русской культурной жизни каждый год на протяжении восьми лет выходил альманах «Северные цветы».

Глава I

РОЖДЕНИЕ АЛЬМАНАХА

В рождественский сочельник 1823 года петербургская читающая публика устремлялась в книжную лавку Сленина, что на Невском проспекте у филармонической залы. Здесь ждала ее новинка, уже ставшая ежегодной, – «русский альманах» – «Полярная звезда на 1824 год», изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. Год назад первая книжка этого альманаха разошлась с неслыханной быстротой – в полтора месяца, и нужно было спешить с покупкой.

Это был успех – невиданный со времени «Истории» Карамзина, успех даже странный, потому что вообще книги расходились плохо. Книгопродавцы, ничего подобного не ожидавшие, взяли тогда по пяточку-десяточку дорогих книжек – и ошиблись жестоко; один Иван Васильевич Сленин, комиссионер «Звезды», остался в прибылях и торжествовал.

Даже сами издатели – Бестужев и Рылеев – не рассчитывали, что план их – приохотить читателей и читательниц к отечественной словесности, и притом романтической – станет осуществляться столь скоро. Теперь они торопились закрепить одержанную победу. В новой книжке собралось тридцать восемь прозаиков и поэтов – весь пишущий мир обеих столиц, украшавший своими именами повременные издания: Пушкин, Жуковский, Крылов, Дельвиг, Вяземский, Баратынский и десятки иных, не говоря уже о самих издателях. Публика разбирала новую «Звезду» с удвоенным рвением; похоже было, что словесность входила в моду.

Скептики из московского «Вестника Европы» и петербургского «Благонамеренного», не одобрявшие вообще новейшего романтизма, намекали не без яда, что «карманная книжка» стоимостью до 12 рублей опустошает карман читателей и наполняет – издательский, и в том имеет свое назначение. У Бестужева и Рылеева было на этот счет иное мнение.

Они видели в «расходе» «Звезды» явственный признак общественного признания литературы. Россия выходила на стезю европейского просвещения. В Европе существовали писатели-профессионалы, «hommes des lettres», предлагавшие плоды своей духовной деятельности всему обществу и получавшие от него средства к существованию. В России такие писатели были исключением: им не на что было жить, если не находился покровитель, меценат. «Сочинитель» – это было не занятие, а нечто побочное, частное, неопределенное в общественном смысле.

Стишки для вас одна забава...

Все меняется, когда сочинитель получает деньги за свой труд, – точнее, когда ему начинают платить деньги. Тогда «стишки» – не «забава», а профессия, а поэт не зависит от меценатов хотя бы лично.

Наш век – торгаш; в сей век железный
Без денег и свободы нет...

Пушкин на юге спорит с Раичем, доказывая ему, что продажа рукописи, не вдохновения – не постыдна для благородного литератора. И так же думали Бестужев с Рылеевым, наблюдая, как тираж «Полярной звезды» исчезает из книжных лавок. Теперь они делают второй шаг, осуществляя свой широкий просветительский замысел.

Они объявляют – впервые в России, – что намерены покупать для своего альманаха стихи и прозу, – как сказали бы теперь, платить авторский гонорар. Поэтому они вынуждены отказаться от комиссионерских услуг Сленина – и все расходы по изданию впредь берут на себя.

Если бы Бестужев и Рылеев не стали на путь литературной коммерции, требование самостоятельности литератора – пусть относительной, но все же большей, чем прежде, – осталось бы пустым звуком. Если бы, составляя альманах, они не учитывали вкусов покупателя – о возбуждении интереса к отечественной словесности не могло быть и речи. Наконец, если бы Иван Васильевич Сленин был меценатом и не заботился о своих доходах, то, перестав быть комиссионером «Полярной звезды», он не обратился бы к Дельвигу с предложением о новом альманахе – и русская культура не имела бы «Северных цветов».

Избрав Дельвига как возможного составителя нового альманаха, Сленин знал что делал. Дельвиг пользовался уважением в литературных кругах – и в том числе в Вольном обществе любителей российской словесности, где состояли членами Бестужев и Рылеев и откуда вышла «Полярная звезда». Он был знаком и со старшим поколением поэтов – Гнедичем, Крыловым, Жуковским, – и с младшим, к которому принадлежали его близкие друзья – Пушкин, Баратынский, Кюхельбекер. Книгопродавец оказался на высоте: он рассчитал, что альманах Дельвига будет довольно близок к «Полярной звезде» по составу участников. Издание и продажу он брал на себя, за что Дельвиг должен был получить 4 тысячи рублей ассигнациями.

Можно думать, что на тех же условиях он издавал и «Полярную звезду».

Мемуарист передает, что Дельвиг «немедля сообщил эту мысль Рылееву, который ничего не имел против нее», но после выхода «Северных цветов» отношения охладились: Рылеев был «видимо недоволен» тем, что многие произведения лучших поэтов украсили эту книгу, отчего, конечно, много потеряла «Полярная звезда»¹.

Все эти переговоры падают, по-видимому, на самый конец 1823 или начало 1824 года. В январском письме Вяземскому, сообщая об успехе новой «Полярной звезды», Бестужев роняет фразу о «мелочной зависти», которую возбуждает этот успех даже среди людей, которых они, издатели, считали «беспристрастнейшими в свете». Если это письмо действительно намекает на «Северные цветы», то перед нами – самое раннее из свидетельств об альманахе, о замысле которого знает пока только узкий литературный круг. Говоря о конкурентах, Бестужев не может сдержать ноту досады или враждебности. Впрочем, в следующем письме Вяземскому от 28 января, где «Северные цветы» названы прямо, интонации уже более спокойны. Бестужев дружески-шутливо упоминает о Дельвиге, который, преодолев свою обычную лень, принял участие в «Звезде», и сообщает об обеде для участников, где враги сидели мирно рядом и «литературная ненависть не мешалась в личную». Он заканчивает призывом, где звучит комическое отчаяние: «У вас выходит *четверогранный альманах*, у нас Дельвиг и Сленин грозятся тоже *Северными цветами* – быть банкротству, если вы не дадите руки».

«Банкротство» – конечно, шутка; уже ясно, что «Полярная звезда» может не бояться конкуренции. «Литературные листки» Фаддея Булгарина сообщают, что за три недели распроданы все 1500 экземпляров, и также слегка шутят над четырехтомной «Мнемозиной». И то же самое пишет Бестужев Я. Толстому в письме от 3 марта:

«Кюхельбекер издает *Альманах в 4-х частях* под заглавием «Мнемозина», он еще не показался, а г-н Сленин и Дельвиг издадут на 25-й год *Северные Цветы*, точно то же, что и наша звезда. Это спекуляция промышленности. Им завидно, что в три недели мы продали все 1500 экземпляров – посмотрим удачи!»².

В этот же день, 3 марта, «Литературные листки» объявляют публике о «Северных цветах». Извещение было составлено в тоне внешне благожелательном и лояльном к новому изданию – и в то же время в нем были поставлены весьма симптоматичные акценты. «На русском Парнасе носятся слухи, – писал Булгарин, – что несколько литераторов и один книгопродавец вознамерились к будущему 1825 году издать альманах в роде *Полярной звезды*, под заглавием *Северные цветы*».

Мысль Бестужева, высказанная в частном письме, становилась достоянием публики. «Северные цветы» будут подражанием широко известному альманаху.

«Хотя наш Север не весьма славится цветами, – в тоне автора слышится едва уловимая снисходительная ирония, – однако ж при старании можно кое-что вылепелять».

Это шутка; далее тон становится серьезным. «Желаем и надеемся успеха, тем более, что семена весьма рано посеяны. Это соперничество» (автор предупреждает возникающие подозрения) «нисколько не повредит „Полярной звезде“, напротив того, возродит в издателях соревнование, что также послужит к пользе читателей. Кто покупал в продолжение двух лет „Полярную звезду“, тот купит и в третий раз, особенно зная отличные дарования издателей, гг. Бестужева и Рылеева»³.

К сожалению, мы не знаем, как реагировали издатели «Полярной звезды» и будущие издатели «Северных цветов» на эту прямую рекламу, которая могла бы обострить отношения и без того конкурирующих групп.

Противопоставлять «отличные дарования» названных поименно популярных писателей нескольким безыменным «литераторам и книгопродавцу» значило прямо подсказывать публике выбор одного издания в ущерб другому. Призыв же в виду этих обстоятельств покупать «Полярную звезду» превращал литературное «соперничество» в борьбу торговых фирм. Грань между «словесностью» и «коммерцией» становилась исчезающе тонкой.

Все это никак не могло входить в планы Бестужева и Рылеева.

Согласившись стать издателем «Северных цветов», Дельвиг понимал, что его ждут довольно значительные трудности. Начать с того, что отношения в «Вольном обществе» были не вполне безмятежны. Здесь действовали две партии – «правая» и «левая», консерваторы в обществе и литературе, группировавшиеся вокруг А. Е. Измайлова, издателя «Благонамеренного», и либеральная часть. Последняя была в большинстве; к ней принадлежали президент общества Федор Николаевич Глинка, вице-президент Н. И. Гнедич, признанный мэтр и учитель, переводчик Гомера; издатель «Сына отечества» Н. И. Греч и сотрудник его, польский журналист не без способностей Ф. В. Булгарин, ставший русским литератором и издававший с 1823 года «Литературные листки», о которых мы уже упоминали; наконец, издатели «Полярной звезды» Рылеев и Бестужев и сам Дельвиг с небольшим кружком оставшихся друзей, прежде всего с П. А. Плетневым.

Все эти люди приняли участие в «Звезде» и действовали против консерваторов сообща – однако прошлый 1823 год посеял среди них брожение.

Мы не знаем досконально, что творилось за кулисами общества и почему Гнедич был смещен с вице-президентства и на его место избран Греч.

Обиженный Гнедич фрондировал, и его поддерживали Ф. Глинка, Дельвиг и Плетнев, особенно сблизившиеся с ним на протяжении 1822–1823 годов.

К Гречу тяготели Рылеев, Бестужев, Булгарин.

Из этой последней группы вышли потом вожди Северного общества декабристов – и можно предполагать, что какие-то общественные разногласия сыграли свою роль в разделении общества на партии. Однако они были не единственной и, может быть, даже не главной причиной. По Петербургу ходили слухи, что Греч интригует за спиной у Ф. Глинки и пытается «обратить Общество» к своему журналу⁴. Это было очень похоже на истину. Официальный журнал общества – «Соревнователь просвещения и благотворения» – день ото дня хирел, а рядом с ним оскудевал гречев «Сын отечества», тоже питавшийся от даяний общества. Сил на два журнала у «соревнователей» не было.

«Сын отечества» был авторитетен и популярен, его покупали «наряду с академическими ведомостями» – но положение могло измениться каждую минуту, и опытный журналист был неспокоен. Еще в 1816 году он предлагал вновь возобновленному Обществу любителей словесности, наук и художеств взять его детище под свою эгиду⁵. Обществу нужен был печатный орган, Гречу – сотрудники. Сделка расстроилась, и Греч связал тогда свою судьбу с «соревно-

вателями». Он должен был заботиться о завтрашнем дне; журнал требовал пищи. Прекратись ее приток – и он погиб, и неминуемое крушение ждет журналиста.

В 1823 году в России был неурожай, дороговизна, помещики в губерниях предпочитали не тратиться на журналы. Число подписчиков у Греча упало вдвое⁶. Теперь, по мнению Греча, «Соревнователь» должен был погибнуть, чтобы гибелью своей спасти «Сына отечества». План не удался; Глинка, Рылеев, О. Сомов образовали «домашний комитет» для оживления журнала и общества. Греч не вошел в него. В 1824 году он был смнен с вице-президентства и не посетил ни одного заседания⁷.

Все это осложняло отношения Греча с руководителями «ученой республики», в том числе и с Бестужевым и Рылеевым, – однако разногласия пока не выходили на поверхность. И он, и Фаддей Булгарин, его ближайший журнальный соратник, держались либеральных взглядов и неизменно поддерживали «Полярную звезду». Булгарин был прямо дружен с Рылеевым и Бестужевым, и мнения их то и дело всплывали в его статьях: он спешил высказать их даже когда и не был никем уполномочен. Так он поступил, извещая о «Северных цветах».

Издатель конкурирующего альманаха в лучшем случае мог рассчитывать здесь на недоброжелательный нейтралитет. Если же издатель был Дельвиг, то следовало ожидать и прямых воинских вылазок, ибо Дельвиг был связан с конкурентом Греча и Булгарина – а с некоторых пор и непримиримым их врагом – Александром Федоровичем Воейковым.

Воейков был женат на любимой племяннице Жуковского А. А. Протасовой, «Светлане» его баллад. Из этого брака он извлек все, что можно, – покровительство Жуковского, литературные связи, деньги. Он извлекал из него даже стихи. В доме Александры Андреевны был литературный салон; ее «лунная красота» и неотразимое обаяние привлекали поклонников. Александр Тургенев и Василий Перовский – близкие друзья Жуковского – были влюблены в нее, как влюблялись люди десятых годов – молча, на всю жизнь, с романтическим томлением. Иван Иванович Козлов, ослепший и прикованный к креслу, считал ее ангелом, ниспосланным ему в утешение. Даже Булгарин одно время сходил от нее с ума, и суховатый и иронический Греч смягчался в ее присутствии. Ни Рылеев, ни Бестужев не остались к ней вполне равнодушны, а молодой Николай Языков кипел и трепетал от неразделенной страсти.

За всеми этими людьми внимательно следил муж – маленький смуглый брюнет с подвижным лицом и вспыхивающими в глазах огоньками тайного недоброжелательства. Нет, не ревность говорила в нем – супруга не давала к ней никаких поводов. Все эти люди были нужны ему – они писали стихи и прозу, которые он, Воейков, печатал в своих «Новостях литературы» – литературном приложении к издаваемой им военной газете «Русский инвалид». Плодами вдохновений Жуковского, И. Козлова, Языкова, одно время даже Рылеева он владел почти монопольно. Не любовных, но журнальных соперников опасался Воейков.

Конкуренция входила в быт, в семейную жизнь, она скрепляла и разрушала дружеские связи. Она встала между некогда закадычными друзьями – Булгариным и Воейковым – и в 1823 году превратила их в смертельных врагов.

Отчуждение и неприязнь росли между кружком Воейкова – и Гречем, Булгариным, Бестужевым, Рылеевым.

Дельвиг был в орбите воейковского кружка, и легкая тень падала на него. Бестужев подозревал, что конкурирующий альманах возникал не без воейковской интриги.

Все эти частности и местности, как уже сказано, делали положение Дельвига щекотливым и затруднительным. Он предупредил Рылеева и Бестужева и даже как бы испросил их согласия на новый альманах – но он не мог рассчитывать на их участие, равно как и на участие близких к ним членов «ученой республики» – Греча, Булгарина, Сомова, Корниловича, к тому же занятых и собственными литературными предприятиями. Оставались Ф. Глинка, Гнедич; по прежним связям можно было что-то получить от А. Е. Измайлова. В воейковском кружке могли поддержать его Жуковский, И. И. Козлов, сам Воейков. Наконец, должен был откликнуться

лицейский «союз поэтов» – Пушкин, Кюхельбекер и соединившиеся с ним позже Баратынский и Плетнев. Из этого союза в Петербурге были, впрочем, только он сам, Дельвиг, и Плетнев: Кюхельбекер сам издавал в Москве альманах с В. Ф. Одоевским и нуждался в литературной помощи; Пушкин был на юге, в ссылке, Баратынский тянул в Финляндии унтер-офицерскую лямку.

Тем не менее Дельвиг начинает переговоры с «союза поэтов» и прежде всего обращается к Пушкину. Во второй половине января – начале февраля 1824 года Пушкин пишет брату Льву: «Что Кюхля? Дельвигу буду писать, но если не успею, скажи ему, чтоб он взял у Тургенева Олега вещего и напечатал. Может быть, я пришлю ему отрывки из Онегина; это лучшее мое произведение»⁸. Здесь идет речь сразу о двух альманахах лицейских товарищей: о «Мнемозине» «Кюхли» и о «Северных цветах».

«Мнемозина» получила «на зубок» «Вечер» («Я люблю вечерний пир») и «Моего демона». У Дельвига в руках была пока только «Песнь о вещем Олеге», которую Пушкин посылал А. И. Тургеневу, видимо, при письме от 1 декабря 1823 года. Это было не так много, но самый подарок содержал в себе некоторый особый смысл.

Печата у Дельвига «Песнь о вещем Олеге», Пушкин вступал тем самым в литературное состязание с Рылеевым, написавшим думу «Олег Вещий». В рылеевской думе он находил анахронизмы и – что гораздо важнее – отсутствие исторических характеров. Именно такой характер занимал его более всего, когда он писал собственную балладу: первобытное простодушие средневекового воина с его детской верой в слова прорицателя и трогательной привязанностью к животному – товарищу многолетних походов. Рылеев искал в Олеге иного: символа древней национальной славы⁹. Разница эстетических принципов Пушкина и «гражданского романтизма» декабристов уже давала себя знать, и Пушкин, надо думать, не случайно не отдал этих стихов в «Полярную звезду». Он мог предвидеть, что издателям они не понравятся, – как и случилось.

Здесь не было преднамеренной полемики, а был отбор и распределение стихов, что Пушкин делал не раз. Вместе с тем можно думать, что новой «Звездой» Пушкин не был доволен и собирался дать это почувствовать издателям. В альманахе была напечатана его «Таврическая звезда» («Редет облаков летучая гряда») с тремя последними стихами, которые имели для него особый, интимный смысл – они относились к Екатерине Раевской, ныне жене М. Ф. Орлова. Эпизод, описанный в них, мог быть узнан и самой Орловой, и ее мужем. Пушкин боялся двусмысленных положений как огня и негодовал на бесцеремонность Бестужева, которого об этих стихах специально предупреждал. В довершение бед два других его стихотворения в прошлой «Звезде» – «Нереида» и «Элегия» («Простишь ли мне ревнивые мечты.») вышли обезображенные опечатками, и Пушкин с досадой отправлял их Булгарину, прося напечатать правильно.

Все это мало располагало Пушкина посылать новые стихи в «Полярную звезду», хотя обеспокоенный Бестужев не раз пытался загладить свою оплошность. Он дает уклончивый отзыв об альманахе в целом и довольно холодно встречает предложение Бестужева продать для следующей книжки «десяток пиес». «Едва ли наберу их и пяток, да и то не забудь моих отношений с цензурой. Даром у тебя брать денег не стану; к тому же я обещал Кюхельбекеру, которому верно мои стихи нужнее, чем тебе». Давние лицейские связи имели для Пушкина особую цену; к тому же он знал, вероятно, что Кюхельбекер находится чуть что не в крайности. Вслед за тем он решительно отказывает Бестужеву в отрывках из «Онегина» – видимо, тех самых, которые предназначал для Дельвига: «Об моей поэме нечего и думать – если когда-нибудь она и будет напечатана, то верно не в Москве и не в Петербурге»¹⁰.

Дельвиг обращался к Пушкину не только за стихами, но и за посредничеством. Он просил Пушкина и Жуковского замолвить за него слово Вяземскому – и только после этого решился написать сам. Он извинялся в принятых мерах предосторожности и затем сообщал

об альманахе. Он просил от Вяземского стихов и прозы, несколько смущаясь, что начинает «делаться бесстыдным, как наши журналисты». «Не имея личных достоинств Рылеева и Бестужева, – так заканчивал он письмо, – надеюсь на дружбу некоторых лучших наших писателей и потому смею уверить вас, что я все употреблю старание доставить Вашим пьесам достойное их общество.»¹¹

Дельвиг, конечно, знал, что Вяземский уже прочно связал себя с «Полярной звездой» и потому-то поспешил заручиться дружеской поддержкой. Мало того, были некоторые основания думать, что Вяземский предубежден против конкурирующего альманаха: не забудем, что именно к нему Бестужев обращал свои то иронические, то негодующие письма. Он посылал в «Звезду» через Жуковского то «Святополка» Кюхельбекера, то собственный «Петербург» и требовал от Жуковского «Иванова вечера» – «Замок Смальгольм»; Жуковский совсем было согласился, но потом почему-то раздумал; в ноябре 1824 года Бестужев жаловался Вяземскому на Жуковского: «отдал „Иванов вечер“ и взял назад»¹².

Помимо обязательств перед «Полярной звездой» были и другие причины, о которых Дельвиг мог знать лишь частично. На Вяземского в одночасье свалилось множество дел: хлопоты с продажей имения, хлопоты с изданием пушкинского «Бахчисарайского фонтана», которое он взял на себя, наконец, хлопоты литературные. Он считал, что теряет свою популярность у «петербургских словесников»: он вступил уже в довольно корректную поначалу, но все более накалявшуюся полемику с Булгариным. Речь шла о баснях И. И. Дмитриева, которому Вяземский отдавал недвусмысленное предпочтение перед Крыловым. Булгарин возражал печатно, и за ним было общее мнение. Вяземский отвечал; журнальная война расширялась. В феврале Булгарин извещал о выходе 20 новых пьес Крылова и среди них басни «Прихожанин» – «последняя может служить руководством критикам, которым кажется все дурно, что не их прихода». В Петербурге знали, что басня намекает на Вяземского: Крылов был задет¹³.

Все время, пока развивались эти события, Вяземский писал только ближайшим друзьям – А. Тургеневу и Жуковскому. К марту он немного освобождается от хлопот. 9 марта он просит Бестужева извинить его молчание. «Летом пришло у вас добрый запас на выбор для „Звезды“. Теперь нет ничего отделанного, а на отделку нет времени, ни свободы»¹⁴.

У Вяземского не было новых стихов даже для «Полярной звезды» – тем более он ничего не мог послать Дельвигу. К просьбам Жуковского и Пушкина он, однако, не мог быть равнодушен, и потому оттягивал ответ, не отказывая решительно.

Вяземский просил Жуковского о «Полярной звезде», Жуковский Вяземского – о «Северных цветах».

Впрочем, Дельвиг тоже, подобно Бестужеву, мог бы жаловаться на Жуковского: обещал «Водолаза» и не отдал. В сентябре 1824 года Дельвиг уже почти что имел в руках перевод этой баллады, которая потом стала известна под названием «Кубок». Но Жуковский не окончил перевода ни в 1824 году, ни в следующем – и лишь через семь лет поставил последнюю точку¹⁵. С тех пор, как умерла его Маша, Мария Андреевна Мойер, он писал совсем мало и с головой ушел в педагогические занятия с наследником. Упреки друзей не действовали: этот мягкий человек становился упорен и даже упрям, когда бывал в чем-нибудь убежден. А он был убежден, что время стихов для него прошло и остаток жизни он должен посвятить одной идее¹⁶.

Бестужев жаловался Вяземскому, что Жуковский отказал ему в стихах для «Полярной звезды», «уверяя, что ничего нет», «когда отдавал Дельвигу новую элегию». Он полагал, что Жуковский просто обманул его, но он ошибался. У Жуковского не было запаса – и ему действительно неоткуда было черпать. Он отдавал Дельвигу самые последние по времени свои стихи – почти все они записаны в альбом А. А. Воейковой в 1823–1824 годах.

Но в одном Бестужев был прав: здесь было действительно предпочтение и даже знак доверия, потому что стихи Жуковского принадлежали к числу самых интимных, навеянных его недавней потерей. В них выразилось то же настроение, которое владело Жуковским, когда он

сажал деревья у свежей могилы Машеньки, – не отчаяние, не скорбь даже, а какая-то покорная резиньязия, как будто он сам готовился к переходу в иной мир и ощущал себя сопричастным отошедшему «товарищу души, прекрасному, удаленному от всякого страдания». «Таинственный посетитель», «Мотылек и цветы», «Ночь», даже ранее написанное «Привидение» проникнуты этим мистицизмом, уже не только литературным, но прочувствованным и воспринятым как собственное мироощущение. Жуковский печатал эти стихи в «Северных цветах» – в «Полярной звезде» они, помимо всего прочего, были бы и не у места.

Жуковский поддержал альманах Дельвига не только своими стихами – он привел сюда и весь свой круг.

Иван Иванович Козлов, отдавший в «Полярную звезду» «Венецианскую ночь», сразу же ставшую знаменитой, вознаградил «Северные цветы» пятью другими стихотворениями. Автографы двух из них – «Киев» и «Ирландская песня» (Из Мура) мы находим в альбомах А. А. Воейковой, но слепой поэт редактировал их, в особенности второе, которое переделал почти полностью. Под этим вторым стихотворением в альбоме была дата: 20 апреля 1824 года; новую редакцию он дал Дельвигу, конечно, позже, – вероятно, лишь в конце октября или начале ноября¹⁷.

Третьим представителем этого дружеского кружка оказался Василий Алексеевич Перовский. Этот человек, образованный и любивший литературу, никогда не выступал как писатель. Его «Отрывки писем из Италии», напечатанные у Дельвига, были подлинными письмами, писанными Жуковскому во время итальянского путешествия Перовского в 1823–1824 годах; Жуковский отдал их в печать, кажется, без ведома автора – часть Воейкову, часть Дельвигу. Они появились в «Цветах» за подписью «П... й» – и автор был узан, по крайней мере Пушкиным¹⁸.

Сам Воейков тоже дал прозу, и тоже «путешествие», очерк из своего цикла «Путешествие по отечеству», «Прогулка в селе Кусково»¹⁹.

Круг Жуковского и Воейкова выполнял, таким образом, свои обещания, и доля его в дельвиговском альманахе оказывалась больше, чем в «Полярной звезде». Шло постепенное, не слишком еще явное размежевание литературных групп.

Из окружения Жуковского, из «арзамасского братства» приходит в «Северные цветы» и Дмитрий Васильевич Дашков. Некогда основатель «Арзамаса», дерзкий и удачливый противник «староверов» из «Беседы любителей русского слова» ныне преобразился в твердого и, по видимому, довольно хладнокровного дипломата. Дашков был советником при русском посольстве в Константинополе. Во время греческого восстания он спас от гибели немало греческих семейств. В редкие перерывы между служебными занятиями он ездил по афонским монастырям, разыскивая греческие и славянские рукописи и грузинскую библию. В нем жил ученый филолог; в Константинополе он изучил греческий язык и переводил античные эпиграммы с подлинника, читая сотни страниц комментариев, чтобы понять несколько строк древнего текста. Он стал не эллинистом, а министром юстиции в николаевском правительстве. Законодательные планы его были слишком преждевременны; ум, работоспособность, энергия оказались не нужны. Он являлся своим подчиненным неким Катон, холодно сдержанным олицетворением беспристрастия. Его считали мизантропом, и только очень близкие люди видели другого Дашкова – внимательного и почти ласкового. Таким знал его Жуковский; он называл Дашкова «Дашенькой», каждый раз приводя этим в изумление Вяземского.

В 1823 году для Дашкова наступил период вынужденного бездействия: слишком ревностных сторонников греческой революции тогда негласно отстраняли от дел. Он раздражался, хотел требовать отставки и между тем вернулся к начатым некогда переводам эпиграмм, чтобы завершить, наконец, многолетний труд. Эти-то эпиграммы – «Цветы, выбранные из греческой анфологии» – Дашков начинает печатать, разделив свой запас между «Полярной звездой» и

«Северными цветами». Он печатается анонимно, но в литературных кругах авторство его – не секрет.

В его переводах соединились «классик», пристрастный к торжественной, архаизированной речи, и «арзамасец», добивающийся изящества и логической точности слова. Филологически они были почти безупречны. Но печатал их Дашков не для филологов.

На них лежал отблеск античности, с ее суровым героизмом, немногословным патриотизмом, с ее презрением к смерти. Дух Древней Греции, воскрешаемый русским дипломатом, преданным делу греческой свободы. Эти стихи эллинской древности стояли рядом с песнями клефтов, подаренными Дельвигу Гнедичем.

Гнедич готовил отдельным изданием песни клефтов, восставших греков, которые собрал и напечатал во Франции Фориэль. Он выбрал для Дельвига ту, которую почитал лучшей в собрании, – «Олимп», и добавил к ней две другие: «Гроб клефта», «одну из славнейших в своем роде песен», и «Кальякуд», где находил сродство с русской народной поэзией. Он отдал явное предпочтение «Северным цветам» перед «Полярной звездой»: в прошлой книжке «Звезды» он не участвовал вовсе, отговорившись неимением альманашных стихов, в новую дал отрывки из «Илиады».

Следы его недавней фронды в обществе «состязавшихся» еще сказывались.

К переводам Гнедича Дельвиг сделал примечание, где сообщал о выходе его книги с суждением переводчика о «простонародной» поэзии греков и славян.

Песни клефтов составляли в альманаше особый цикл, к которому Дельвиг добавил другой, близкий по духу и по поэтике. Он убедил Александра Христофоровича Востокова заняться переводом сербских народных песен из сборника Вука Караджича.

Востоков был поэт и ученый филолог, знаток античной и народной метрики, грамматик и славист. Еще в 1817 году Кюхельбекер приносил своим пансионским ученикам только что появившийся его «Опыт о русском стихосложении», а четырем годами позднее Плетнев и Дельвиг перечитывали вместе книжку стихов Востокова, восхищаясь его посвящениями – в особенности адресованными Гнедичу; через двадцать с лишним лет Плетнев просил Востокова подарить ему экземпляр и переписать эту надпись. Сам Дельвиг вспоминал стихи Востокова, подражая Катулле, – да и в других случаях, когда ему приходилось имитировать античную метрику. Они встречались в обществах «состязавшихся» и словесности, наук и художеств, где Востоков был неслучайным почетным членом, вероятно у Гнедича, может быть у Оленина, несомненно – в Публичной библиотеке, где служили оба. Предложение Дельвига нашло благодатную почву: Востоков засел за перевод, и «Северные цветы» пожали первые плоды²⁰.

В альманаше Дельвига определялась целая группа стихов, связанных с народной словесностью – новогреческой, славянской.

Античность и народная поэзия – это то, что ближайшим образом интересовало самого Дельвига. Это была поэзия «наивная», средоточие непосредственных, безыскусственно выраженных чувств. Гнедич пытался создать «русскую идиллию»; к ней же, только с другой стороны, подходит Дельвиг. Общность интересов объединяет два поколения, и, хотя каждое из них преследует свои цели, они сотрудничают охотно. Гнедич и Дашков могут многому научить Дельвига, не знающего греческих подлинников; у того же Гнедича и у Востокова Дельвиг учится одновременно и фольклорной поэтике. И он вносит свой вклад в «Цветы»: две «русские песни» – «литературный фольклор» – и идиллию «Купальницы» – «античность».

В этот же ряд становится идиллия «Море и земля», перевод из Мосха, первого после Феокрита буколического поэта древности. Перевод сделал совсем молодой поэт – Константин Масальский, ученик Кюхельбекера по Благородному пансиону, однокашник Левушки Пушкина, юноша благонравный и благоразумный и в своем литературном поведении. Ему предстоит стать в дальнейшем историческим романистом; сейчас он начинает свою поэтическую

деятельность: переводит с французского, с испанского, пишет басни. Он начинает раньше своих сверстников; он – уже следующее за Дельвигом литературное поколение.

Можно было ожидать, что Гнедич откликнется на просьбу Дельвига. Труднее было рассчитывать на Жуковского. Басни Крылова были для альманашника редким, вожделенным даром.

Крылов был хорош с Жуковским и Гнедичем, с которым даже жил по соседству: в казенной квартире через дом от главного здания Публичной библиотеки. Мимо квартиры Крылова лестница вела наверх, к Гнедичу.

Для Дельвига библиотекарь, надворный советник Крылов был служебным начальством. Кажется, по службе между ними были некоторые неудовольствия. Во всяком случае, директор библиотеки А. Н. Оленин в 1824 году письменно извещал помощника библиотекаря Дельвига, что не даст представления о производстве его в следующий чин, пока не получит от Крылова извещения, что часть библиотеки, ему, Дельвигу, вверенная, приведена «в надлежащий порядок». Но Дельвиг, видимо, не торопился с наведением порядка, а Крылов не спешил с извещением; чина Дельвиг так и не получил. П. А. Плетнев вспоминал, однако, что нерадение Дельвига «не довело до ссоры двух поэтов, равно ленивых, но равно и уважавших друг в друге истинное дарование»²¹.

Но даже оставив в стороне претензии Крылова, нельзя было ручаться, что он легко откликнется на просьбы. Он готовил новое собрание басен и следил, чтобы их не перепечатывали понапрасну. В феврале 1824 года слухи об этом издании уже проникают в печать; называют новые басни, читанные «в некоторых обществах»: «Кот и соловей», «Пляска рыб», «Ворона», «Горшок», «Прихожанин». К марту уже называется точное число новых басен: двадцать семь²².

Из этих двадцати семи басен Крылов до сих пор выпустил в печать только четыре. Оставались двадцать три басни; из них две он отдал в «Полярную звезду» на 1825 год, две Гречу и Булгарину для новорожденной «Северной пчелы». Дельвигу он подарил *пять* басен.

По-видимому, уже к началу сентября у Дельвига были «Лисица и Осел», «Муха и Пчела», «Богач и Поэт», «Прихожанин» и «Лев состаревшийся» и что-то еще²³. Но Крылов этим не ограничился.

4 октября он был в Приютино на даче у А. Н. Оленина, обедал, а потом задремал в кресле. Три молоденькие почитательницы его таланта с изящной учтивостью разбудили его поочередными поцелуями; старик вспомнил литературную молодость и написал анакреонтическую оду. Эту оду «Три поцелуя» он тоже отдал в «Северные цветы».

Биограф Дельвига В. П. Гаевский видел в этом доказательство особой благосклонности к Дельвигу старого баснописца, который давно уже ничего не печатал, кроме басен. Может быть, так оно и было²⁴.

Уже в июне 1824 года Дельвиг был спокоен за судьбу альманаха и рассчитывал, что ему понадобится не более месяца, чтобы закончить его составление. Его беспокоил только недостаток прозы, и он писал Федору Глинке, обещавшему дать прозаические статьи²⁵.

Он даже собирался послать Кюхельбекеру для «Мнемозины» свои стихи и стихи Жуковского и отправил ему «Узницу» Козлова, прося напечатать. «Ты утетишь человека слепого и безногого, который имеет одну только отраду в жизни – поэзию».

В том же письме он просил Кюхельбекера и еще не знакомого ему В. Ф. Одоевского «что-нибудь прислать в новый альманах *Северные цветы*». «Он будет хорош: *Игнациус* рисует картинки, бумага веленовая, печать лучшая в Петербурге, а с помощью друзей начинка не уступит украшениям»²⁶.

Оптимизм Дельвига, быть может, был несколько преждевремен. Кюхельбекер и Одоевский не смогут принять участия в «Северных цветах», а он сам и Жуковский – в «Мне-

мозине»²⁷. «Узница» Козлова не появится в кюхельбекеровском альманахе, и пройдет еще несколько месяцев, пока подоспеет ожидаемая «помощь друзей».

Тем не менее некоторый запас у Дельвига уже есть. Языков, приехавший в Петербург в начале июня, сообщает брату в Симбирск: «он хвалится множеством прекрасных стихов, для него приготовленных: дай бог!»

Дельвиг писал Языкову в Дерпт в марте, и Языков к 6 апреля послал какую-то небольшую «пьесу», посвященную Е. П. Ивашевой, и боялся, что она не поспеет. Может быть, это было стихотворение «Ливония». 12 апреля он сообщал братьям, что написал еще нечто для «Северных цветов». Ни одно из этих двух стихотворений в альманахах не попало. Может быть, их задержала цензура, – так было с языковской «Новгородской песнью»²⁸.

Цензура А. С. Бирукова оставляла в запасах альманашиков зияющие пустоты; Рылеев с Бестужевым иной раз приходили в отчаяние.

Но для Дельвига все еще впереди.

17 июня Бестужев пишет Вяземскому: «У Дельвига будет много хороших стихов – не надо бы и нам старикам ударить в грязь челом, а это дело господ поэтов»²⁹.

Баратынский был одним из «господ поэтов», на которых и Дельвиг, и издатели «Звезды» возлагали особые надежды.

В начале 1824 года он еще находится на положении «финляндского изгнанника». За него хлопочут Жуковский, Александр Тургенев, Денис Давыдов. Все просьбы – об офицерском чине, об отставке, о гражданской службе – пока остаются безуспешны.

Между тем сам он ведет себя не слишком осторожно; его антипатия к российским общественным порядкам находит выход то в сатирических куплетах, то в разговорах, слухи о которых доходят до Москвы, то в эпиграмме на Аракчеева.

Пока решается его судьба, он готовит к изданию сборник своих стихов, хотя А. Тургенев настойчиво предупреждает, чтобы имя его до окончания дела не появлялось в печати.

В первые месяцы 1824 года он посылает Бестужеву и Рылееву тетради со стихами: издатели «Полярной звезды» намерены стать издателями и сборника Баратынского; в марте Булгарин объявляет об этом в «Литературных листках». Друзья поздравляют Рылеева с покупкой и еще в октябре 1825 года интересуются книжкой.

В июне Баратынский собственной персоной появляется в столице, изнемогающей от невыносимой жары. 12 числа его видит здесь вместе со Львом Пушкиным Языков, остановившийся на неделю-другую проездом в Симбирск. 14 июня он с Гречем и Дельвигом отправляется к А. И. Тургеневу на Черную речку обедать; собрались Жуковский, Блудов, Дашков и привезли слепого Козлова. «Баратынский читал прекрасное послание к Богдановичу», – сообщал Тургенев Вяземскому в Москву.

Через три дня он видится с Бестужевым у Рылеева, 12 июля они проводят вечер втроем³⁰.

Он как будто связывает оба кружка – «Северных цветов» и «Полярной звезды» и, деля свои стихотворные приношения между двумя альманахами, не оказывает видимого предпочтения ни тому, ни другому. Но скрытое размежевание позиций уже началось: оно вскоре скажется и на этих отношениях.

Идет борьба эстетическая, и борьба журнальная.

В «прекрасном послании» Баратынского к Богдановичу есть след этой литературной и общественной борьбы.

Мы знаем только позднюю редакцию послания и не можем определить точно, что в нем принадлежит первоначальному тексту и что появилось позже. Однако общий смысл стихотворения, конечно, не менялся при переработке.

Баратынский хоронил элегическую поэзию, в том числе и свою собственную. Он писал о «жеманном вытье» современных элегиков и о Жуковском, который «виноват» в рождении

унылой элегии, потому что первым «вошел в содружество с германскими певцами» и сделал их «жизнехуленья» достоянием русской поэзии.

Все это почти совпадало с тем, что написал Кюхельбекер в только что вышедшей второй книжке «Мнемозины», написал с полемическим задором, парадоксами и преувеличениями. Он нападал на элегии Пушкина и Баратынского, указывал на Жуковского как родоначальника «германского» мистицизма и провозглашал возвращение к высокому лиризму оды и к родникам народного творчества.

Со статьей Кюхельбекера, кажется, не был согласен никто: ни Пушкин, ни Вяземский, ни А. Тургенев, ни Бестужев. Вместе с тем – странное дело! – иные полемисты повторяли ее критическую часть.

«... Жуковский первый ввел к нам аллегорическую и так сказать неразгаданную поэзию, – а уже вслед за ним все пишущее записало *бемольными* стихами; но, как водится, не имея его дара, не имело и тени его успеха...»³¹.

Так будет писать Бестужев, еще в 1823 году в первой «Полярной звезде» упрекавший Жуковского и Дельвига за «германский эмпиризм» и «германский колорит».

Булгарин, рецензируя вторую книжку «Мнемозины», выписал все место об элегиях как «совершенно справедливое» и лишь переносил всю тяжесть упреков с Жуковского, Пушкина и Батюшкова («сих великих поэтов, делающих честь нашему веку») на их «несносных подражателей»³².

Спор расширился, из области литературы и эстетики перебрасываясь в область политики. Борьба за национальную культуру была для Бестужева и Рылеева частью программы Северного тайного общества. «Немецкое влияние» означало теперь и господство немцев при русском дворе, и едва ли не самую династию Романовых, в чьих жилах текла кровь герцогов Гольштейн-Готторпских. Имя Жуковского всплывало на «русских завтраках» Рылеева, где в противовес «немецкому духу» царила «русская» символика: графин русского вина, кочны пластовой капусты, ржаной хлеб. Слово за слово – и вот уже от «германизма» переходят к придворной службе поэта, губящей его творчество, от сожалений к шуткам, потом к сарказмам – и наконец Бестужев при шуме всеобщего одобрения читает злую эпиграмму на «бедного певца», преобразившегося в придворного:

С указкой втерся во дворец,
И там, пред знатными сгибая шею,
Он руку жмет камер-лакею...

Эпиграмма передавалась из уст в уста. А. Е. Измайлов записал ее как пушкинскую. Затем о ней узнал Воейков и с торжеством прочитал самому Жуковскому; вероятно, он сказал, что эпиграмма Булгарина, Жуковский поверил и был задет. Встретив Греча, он сказал ему: «Скажите Булгарину, что он напрасно думал уязвить меня своей эпиграммою; я во дворец не втирался, не жму руки никому. Но он принес этим большое удовольствие Воейкову, который прочитал мне эпиграмму с невыразимым восторгом». 22 мая 1825 года о ней пишет Вяземскому возмущенный Тургенев³³.

Две не только литературные, но и общественные группы теперь стоят друг против друга: кружок Бестужева – Рылеева, к которому примыкают Булгарин и Греч, и друзья Жуковского – и в их числе Воейков. Отношение к Жуковскому – не к человеку, но литератору, общественному деятелю, к его поэзии, словно намеренно удаляющейся от гражданских тем, – разделяет их. За этой разницей взглядов – разница общественных позиций, представлений о национальной культуре и многое другое, что приведет одних на Сенатскую площадь в декабре 1825 года, а другим уготовит иную судьбу.

«Полярная звезда» и «Северные цветы» находятся по разные стороны демаркационной линии.

Таковы были обстоятельства в общих чертах – говорим: в общих чертах, потому что на практике все было несколько сложнее.

На практике оказывалось, что Баратынский, Кюхельбекер и Бестужев почти одновременно и почти одними словами рассказывают о Жуковском как родоначальнике «германической» и элегической школы и выступают против самой школы как подражательной.

Вместе с тем статья Кюхельбекера в кругу Жуковского вызывает резкое неодобрение, а послание Баратынского, читанное перед самим Жуковским, принимается с энтузиазмом.

И даже в истории бестужевской эпиграммы, столь оскорбившей и возмущившей ближайших друзей Жуковского, не все ясно с первого взгляда.

Михаил Бестужев вспоминал, что Бестужев импровизировал ее в присутствии Левушки Пушкина, Грибоедова, Гнедича, Ф. Глинки – и Дельвига. Бестужев ошибся: Дельвига при этом не могло быть. В феврале 1825 года он уехал в отпуск в Витебскую губернию и вернулся в Петербург лишь 28 апреля³⁴. Он застал ходящую по Петербургу эпигramму, уже потерявшую имя. Как он отнесся к ней – на этот счет мы можем только строить предположения.

Он любил Жуковского – любил как литератора, как человека, почти как товарища. Он прекрасно знал, что намеки на угодничество Жуковского далеки от истины, как небо от земли, и вряд ли мог им сочувствовать. Наконец, он был связан с Жуковским уже довольно тесными литературными узами – более тесными, нежели с издателями «Полярной звезды».

И все же – странная вещь – Михаил Бестужев, пусть и ошибочно, называет Дельвига в числе тех, кто смеялся эпигramме и одобрял ее. Он перечислил не всех участников «завтрака», но лишь тех, кто был связан с хозяевами ближе других: Ф. Глинку, Гнедича, Грибоедова – декабристов и их ближайших сочувственников. Среди них он нашел место и Дельвигу. Он знал, стало быть, что Дельвиг принадлежит к «друзьям», а не «противникам». И от этого же убеждения произошла другая ошибка: в семье Бестужевых были уверены, что Дельвиг сочинил резчайшие куплеты против царской фамилии: «Боже, коль ты еси, Всех царей в грязь меси»³⁵.

Такие стихи можно было приписать только человеку с прочной репутацией вольнодумца.

Некоторые косвенные данные позволяют думать, что в дельвиговском кружке установилось скептическое отношение к придворной службе Жуковского – и даже, может быть, к мистическим тенденциям его поэзии.

«Дельвиг не любил поэзии мистической, – вспоминал Пушкин. – Он говаривал: „чем ближе к небу, тем холоднее“. Вряд ли можно сомневаться, что речь шла и о поэзии Жуковского, а может быть, только о ней.

«Жуковский, я думаю, погиб невосвратно для поэзии. Он учит великого князя Александра Николаевича русской грамоте и, не шутя говоря, все время посвящает на сочинение азбуки. Для каждой буквы рисует фигурку, а для складов – картинки». Это опять Дельвиг – он пишет Пушкину 28 сентября 1824 года, – и еле заметная ирония улавливается в этом описании.

«Жуковский работает все около астрономии», – вторит ему Плетнев³⁶.

Во всем этом нет ничего удивительного. Самые близкие друзья Жуковского в преддекабрьские годы с осуждением говорили о связи его со двором. Если бы опубликовать в те годы то, что писал о ней в письмах Вяземский, – его гневная инвектива оставила бы далеко за собой мелочные журнальные нападки.

Но в том-то и заключалось дело, что ни Пушкин, ни Вяземский, ни группа Дельвига не выступали против Жуковского *публично*³⁷, более того, на журнальных страницах они каждую минуту были готовы стать на его защиту. В этом было отличие их от Бестужева и Рыльева, и каждая из позиций имела свои резоны и была чревата своими опасностями.

Пушкин писал Кюхельбекеру в декабре 1825 года: «Не понимаю, что у тебя за охота пародировать Ж^{уковско}го. Это простительно Цертелеву, а не тебе. Ты скажешь, что насмешка

падает на подражателей, а не на него самого. Милый, вспомни, что ты, если пишешь для нас, то печатаешь для черни; она принимает вещи буквально. Видит твое неуважение к Жуковскому и рада»³⁸.

Это – возражение не только Кюхельбекеру, но и Бестужеву, и Гречу и Булгарину, печатавшим критики на Жуковского в своих журналах. Более того, это некий общий принцип, следуя которому Баратынский не отдает своего стихотворения в печать. Он сделает это только спустя три года, когда стихи уже не будут звучать так актуально, и тогда Вяземский будет упрекать его: публика может принять строки о Жуковском за чистую монету и счесть самого автора союзником «классиков» «Благонамеренного» или «Вестника Европы».

Читательский вкус в России не установился: его предстоит еще воспитывать. «Черни», «принимающей вещи буквально», слепо доверяющей печатному слову, можно внушить все, что будет угодно журналисту. Она не научилась еще уважать подлинные литературные ценности – и в том числе поэзию Жуковского, – а уже находятся судьи, которые спешат развенчать их.

Да и чем определяется право этих критиков на безраздельное господство над общественным мнением? Разве тем, что они – издатели журналов, покупаемых и читаемых?

Приблизительно такую логику мысли мы можем усмотреть в критических выступлениях Пушкина и дельвиговского кружка.

Гласность, публичность, споры в печати, во всеуслышание делали широкий читательский круг участником литературного движения; они вовлекали в литературные дела всех без разбора, кто перелистывал журнальные страницы. Это была журнальная политика нового, буржуазного века, более свободная, более демократическая, нежели ранее. К ней склонялись Рылеев и Бестужев.

Но, как и всякая буржуазная демократия, она готова была решать литературные дела большинством голосов. Голоса принадлежали подписчикам, платившим за журналы и альманахи. Издательское дело становилось коммерцией – и так должно было быть; но коммерция проникала и в самую литературу. Нужен был еще один шаг, чтобы по историческому вызову явились поставщики на рынок литературного товара, чтобы конкуренция и жажда обогащения стали направлять писательское перо.

Этот шаг уже готовы были сделать – каждый по-своему – Воейков, Булгарин и Греч.

Такова была оборотная сторона буржуазной демократии в литературе.

Тем же, кто боялся этих неизбежных последствий, угрожала кастовость, замкнутость, элитарность, опасность потерять широкого читателя и погибнуть под натиском сильных конкурентов.

В своем послании Баратынский писал о художнике, замкнувшемся в гордом уединении, и о его профессиональных журнальных «судьях», торгующих хвалой и бранью не в переносном, а в буквальном смысле.

В письме к Козлову он разъяснял смысл своих, впрочем, достаточно прозрачных намеков. «Наши журналисты стали настоящими литературными монополистами; они создают общественное мнение, они ставят себя нашими судьями при помощи своих ростовщических средств, и ничем нельзя помочь! Они все одной партии и составили будто бы союз противу всего прекрасного и честного. Какой-нибудь Греч, Булгарин, Каченовский составляют триумvirат, который управляет Парнасом».

Нужно было иметь свой печатный орган, лучше всего журнал, хотя бы для того, чтобы не попасть в полную зависимость от «степени расположения <...> вышеуказанных господ»³⁹.

Это письмо написано в январе 1825 года, и на его тон и суждения наложили отпечаток примечательные события, пришедшиеся на вторую половину 1824 года, – события, отчасти совершавшиеся на глазах у Баратынского.

19 июня 1824 года Бестужев записал в дневнике: «У Рылеева с Баратынским. История Дельвига с Булгариным».

Об этой «истории» до нас дошли несколько отрывочных припоминаний и одна записка без даты. Пушкин вспоминал: «Дельвиг однажды вызвал на дуэль Булгарина. Булгарин отказался, сказав: „Скажите барону Дельвигу, что я на своем веку видел более крови, нежели он чернил“. П. В. Нащокин, приятель Пушкина, однокашник Левушки Пушкина и Соболевского по Благородному пансиону, добавлял, что сам он должен был стать секундантом у Дельвига, Рылеев – у Булгарина. Булгарин отказался от поединка, и „Дель.<виг> послал ему ругательное письмо за подписью многих лиц“.

Письма, вероятно, не было. Рылеев вступил в переговоры. «Любезный Фадей Венедиктович! – сообщал он Булгарину. – Дельвиг соглашается все забыть с условием, чтобы ты забыл его имя, а то это дело не кончено. Всякое твое громкое воспоминание о нем произведет или дуэль или убийство. Dixi»⁴⁰.

Нам неизвестно, какое «громкое воспоминание» Булгарина о Дельвиге было поводом для этой несостоявшейся дуэли. Но почти нет сомнений, что причиной ее была все та же всемогущая конкуренция. Год назад она едва не поставила на барьер миролюбивых Воейкова и Булгарина. Тогда Булгарин посылал картель, Дельвиг посмеивался над ним, Рылеев был посредником и примирителем. Дуэль кончилась ничем; Воейков объяснял, что не затронул ни чести противника, ни его выгод.

Честь и выгоды стояли рядом, уравненные в правах. Посягательство на то и другое равно смывалось кровью. Формула Воейкова обещала стать исторической.

Теперь все как будто повторялось заново, и действовали почти те же лица. И совершенно так же, как в первый раз, Рылеев рассержен на Булгарина больше, чем на его врагов. Он ведет себя так, как будто он – секундант Дельвига. Он говорит от его лица в тоне то ультиматума, то высокомерного снисхождения.

Он втянут в игру страстей, от которой ему становится не по себе.

Зловещие отблески «коммерческого века» ложатся на всех.

Баратынский называл Греча, Булгарина, Каченовского как основных своих противников. Но, видимо, произошло что-то, что расстроило его отношения и с издателями «Полярной звезды». Уехав из Петербурга 5 августа 1824 года, он увез с собой тетради, которые должны были составить его печатный сборник. Бестужев сообщал об этом Вяземскому и подозревал здесь козни Воейкова, который намеренно ссорит его с литераторами дельвиговского кружка.

Разрыва не произошло: Баратынский будет участвовать еще в «Звездочке», продолжающей «Полярную звезду», – но прежней близости уже не было. Весной 1825 года Бестужев напишет Пушкину, что перестал верить в талант Баратынского⁴¹.

В августе же 1824 года, лишь только Баратынский покинул Петербург, Булгарин садится за составление памфлета «Литературные призраки»; он вышел в свет 8 сентября⁴².

В этом памфлете Булгарин задевал весь дельвиговский кружок и более всего «Лентяева» – Дельвига и «Неучинского» – Баратынского. Этих поэтов-неучей, вперевод хвалящих друг друга, учат уму-разуму сам Архип Фаддеевич – Булгарин – и приезжий литератор Талантин, в котором без труда узнавали Грибоедова.

Булгарин сводил счета литературные и личные; он бы, вероятно, не решился на это, если бы в отношениях Дельвига и Баратынского с одной стороны и издателей «Полярной звезды» с другой не возникло бы взаимных неудовольствий. Однако он ошибся в расчете: сам Грибоедов, втянутый против воли в литературную интригу, был возмущен и написал Булгарину, что порывает с ним отношения. Вяземский, чья война с Булгариным уже приобрела довольно острые формы, писал Жуковскому о «подлом и глупом разговоре Булгарина» с похвалами Грибоедову и посылал эпиграмму с предложением напечатать в «Северных цветах»⁴³.

Между тем враг Булгарина – Воейков – творил свои негодии.

В № 136 «Русского инвалида» он объявил, что «по желанию многих известных наших писателей» он намерен с 1 июля издавать «Новости литературы» не листами, а отдельными книжками, по 12 книжек в год, общей стоимостью 15 рублей.

Это означало, что «Новости литературы» превращаются из приложений в особый журнал. А это в свою очередь значило, что за нехваткой оригинальных сочинений Воейков станет систематически перепечатывать уже опубликованные стихи. Так он нередко делал и раньше, не спрашивая ничьего позволения, и этот род литературного пиратства обозначался в обиходе глаголом «воейковствовать».

Издатели «Полярной звезды» страдали от этих перепечаток более всех и приняли свои меры. Они написали объявление, в котором предупреждали «всех собирателей так называемых новостей литературы, образцовых сочинений и прочих словесных мозаиков», что не намерены терпеть дальнейших выкрадок и просят пощадить их альманах, в противном же случае вынуждены будут употребить против «варварийского права корсаров» «европейское право эмбарго». Впрочем, объявления своего они не напечатали; в замену его в «Литературных листках» Булгарина появилось иное объяснение. Речь в нем шла об изданных Воейковым «Образцовых сочинениях», своего рода антологии новейшей поэзии и прозы, которую Воейков не собирает, а «выбирает» из чужих изданий – и представляет публике под видом «новостей». В статье был представлен длинный список воейковских контрафакций, в том числе из «Полярной звезды»⁴⁴.

Эта «превентивная война», как мы увидим далее, была вовсе не излишней, и худшие опасения Рылеева и Бестужева оправдались.

В начале сентября вышла в свет запоздавшая июльская книжка «Новостей литературы», где в очередном очерке из «Путешествия по отечеству» Воейкова – «Путешествие из Сарепты на развалины Шери-Сарая...» был напечатан в качестве цитаты отрывок из пушкинских «Братьев-разбойников». Эту поэму Пушкин отдал в «Полярную звезду», и она должна была стать одним из лучших украшений альманаха. Публикация ее Воейковым была уже неприкрытым разбоем. Возмущенные издатели пишут ему письмо, прерывая с ним всякое общение. «Конечно, потеря знакомства с благородными людьми для вас ни важна, ни нова; за то раззнакомление с вами будет для нас очень выгодно». Булгарин поспешил объявить печатно, что Воейков напечатал стихи, предназначенные в «Полярную звезду»; поскольку стихи эти были помещены среди разбойничьих песен, напрашивалась прямая ассоциация между издателем «Новостей литературы» и грабителями старого времени; Булгарин ядовито замечал, что Воейкову следовало бы объяснить своим читателям, что означают употребленные им слова «сарынь на кичку», ему, надо полагать, хорошо известные. В веселый час создалась и песня, от которой дошло до нас несколько строк:

Лишь только занялась заря,
И солнце, в блеске вверх паря,
Лишь показалось над горой,
Воейков едет на разбой!
Сарынь на кичку кинь (bis)!⁴⁵

Как бы ни издеваться над Воейковым, дело его, однако, было сделано. Охраны авторских и издательских прав в России не существовало. «Полярной звезде» был нанесен непоправимый ущерб.

20 сентября Бестужев пишет Вяземскому, изливая душу, оскорбленную «подлостью людскою». Он посылал ему копию письма к Воейкову и рассказывал, что здесь действует зависть и корысть; что Воейков сознается, будто «план „Северных цветов“ им начертан, и не даром»; что через Льва Пушкина издателей «Звезды» стремятся поссорить с Пушкиным, выкрадывают у

них стихи, наконец, научили Баратынского увезти с собой тетради. Бестужев просил литературной помощи – от Вяземского и Дмитриева, чтобы не быть вынужденным отложить издание до лучших времен. Он упоминал и о том, что «Полярная звезда» находится в худшем положении, нежели «Северные цветы», которые готовит Сленин, так как последний получит все выгоды от продажи. «О князь, – заключил он, – Ваше бы сердце разорвалось на части, если бы узнали Вы дела и мысли тех, кого считаете лучшими своими друзьями.»

Век «коммерческой словесности» надвигался неуклонно, и Булгарин и Воейков были лишь наиболее яркими его представителями.

Одна и та же тема звучит в письмах участников «Цветов» и участников «Звезды». «С приезда Воейкова из Дерпта и с появления Булгарина литература наша совсем погибла, – пишет Дельвиг Пушкину в том же сентябре 1824 года. – Подлец на подлече подлеча погоняет.» «Что сделалось с литературой? Тошно смотреть, слушать и читать. Булгарин – законодатель вкуса!» (Жуковский – Вяземскому, 22 сентября). «Здесьние журналисты огадились совершенно», – вторит А. Тургенев, имея в виду тех же Булгарина и Воейкова. Вяземский, получив это письмо, перефразирует его Пушкину: «Петербургская литература так огадилась, так исшельмовалась, что стыдно иметь с нею дело».

Все это пишется осенью 1824 года, когда конкуренция между изданиями становится особенно острой и накладывает свою печать на взаимоотношения литературных групп. В это же время Бестужев жалуется Вяземскому на черные мысли и дела его ближайших друзей, а Плетнев, также не называя имен, сетует в письме к Пушкину на «мерзости», которые делают с Дельвигом «эти молодцы» за «Северные цветы» – и все для денег⁴⁶.

Здесь все были правы – и все неправы. Бестужев слишком легко поверил, что Воейков есть тайная пружина «Северных цветов», равно как и Булгарин не был эмиссаром «Полярной звезды». Дельвиг знал цену Воейкову, Бестужев – Булгарину. В поздних бестужевских письмах мы находим резкие характеристики прежних литературных друзей и союзников; Греч и Булгарин, пишет он, превращают словесность в предмет торговли. Но разве дело было в злой воле отдельных лиц?

Джин предпринимательства был выпущен из бутылки и слепо сеял историческое благо и историческое зло. Рядом с развитием литературы, журналистики, издательского дела, с расширением круга читателей шла конкуренция, поглощение слабого сильным, денежные отношения вторгались в литературу.

Современники, захваченные водоворотом, едва ли представляли себе, что они стоят на пороге смены общественных формаций.

В сентябре 1824 года Дельвиг начал печатать «Северные цветы».

Вяземский пока не прислал ему ничего, но Дельвиг не терял надежды. 10 сентября он пишет ему снова.

А. А. Дельвиг – П. А. Вяземскому

Почтеннейший князь Петр Андреевич. Если бы все так были не милостливы к моим Северным цветам, как вы, то и я бы запел: Если бы на цветы да не морозы и пр., но слава Аполлону из *живых* хороших писателей только вы еще их не украсили своими сочинениями. Самые ленивейшие Жуковский и Дашков пышно одарили меня. Пушкин, Баратынской, И. А. Крылов доставили мне каждый по четыре, по шести и по семи довольно больших и прекрасных пьес. И от второклассных писателей я с большим выбором принимаю сочинения. Не бойтесь дурного общества, вашим пьесам соседи буду<t> хорошие. Они не столк<n>утся ни с Каченовским, ни с А. Писаревым, ни со Лже-Дмитриевым, ни с поляком Булгариным. Жуковский уверяет, что вы в письме к нему обещали исполнить мою просьбу: потому я с такою надежностью на вас и пишу к вам о моих цветах. Они теперь

печатаются, но ваши пьесы, ежели они и через две, даже три недели будут у меня, – не опоздают. – Есть у меня еще одна просьба: я боюсь беспокоить моею просьбою И. И. Дмитриева – не можете ли вы лично ходатайствовать за меня у парнасского нашего министра и достать две, три пьесы его. Он скорее не откажет вам, достойному своему биографу, нежели мне, незнакомому, но пламенному своему обожателю.

Будьте добры, любезнейший Князь, ко мне, истинному почитателю ваших талантов, и похлопочите о моих цветах. Жуковский благословил мое предприятие и ужели вы не утвердите его печатью прекрасного дарования вашего?

Всегда готовый к услугам вашим Барон Дельвиг. 1824-го года 10-го Сентября.⁴⁷

Дашков обещал Дельвигу не только стихи, но и прозу. Он решился описать свое путешествие по греческим землям в 1820 году и уже начал работу, прося неделю за неделей отсрочки. Дельвиг терпеливо ждал – настолько терпеливо, что заставлял должника считать его из ряду вон выходящим кредитором. 10 сентября на зубок «Северным цветам» пришла и пушкинская «Прозерпина».

Дельвиг благодарил Пушкина и обращал к нему просьбу, ставшую теперь обычной. «Да нет ли, брат, у тебя какой прозы, удобо-пропускаемой цензурой? Пришли, коли есть». Он осторожно осведомляется об «Онегине»: нельзя ли получить хотя стихов двадцать из поэмы, о которой «толпа» «давно горло дерет»? «Подумайте, ваше парнасское величество!»⁴⁸

В ожидании ответа он продолжает собирать материалы и отдавать их в цензуру, где уже лежат новые стихи Баратынского. Пушкин интересуется ими, и Дельвиг собирается прислать их ему вместе со своей идиллией «Купальницы», также предназначенной для «Цветов». Он упоминает и о послании к Богдановичу, которое не вполне одобряет: «оно в несчастном роде дидактическом. Холод и суеверие французское пробиваются кой-где». С Баратынским он продолжает переписываться и ждет от него новой поэмы, обещанной ему с первой же почтой.

Дельвиг ждет. Он ждет Пушкина, ждет Дашкова, Вяземского, ждет Жуковского, который обещал ему «Водолаза» Шиллера. Его флегма составляет разительный контраст кипучему темпераменту Бестужева. «Князь Вяземской петъ может сколько угодно, а стихов мне пришлет», – пишет он Пушкину.

В конце сентября – начале октября ему удастся, наконец, дожидаться статьи Дашкова «Русские паломники в Иерусалиме» и шестнадцати «Надписей из Анфологии».

«Надписи» Дашков, как мы уже говорили, разделил поровну между «Полярной звездой» и «Северными цветами», но прозу получил только Дельвиг. Статья была превосходна – изящна, учена и глубока, и к ней Дашков добавил еще две старые «альбумные нежности», которые предоставил полностью на усмотрение издателя – печатать или отвергнуть⁴⁹. Этих двух стихотворений мы не знаем; они не появились в альманахе. Долготерпение Дельвига было вознаграждено; нетерпеливость Бестужева удовлетворена; недоволен был один Воейков. Он узнал о подарках Дашкова и написал ему «целую филиппику» за то, что тот отступился от его издания и дает другим обещанное ему, Воейкову.

Дашков повинился, но решения своего все же не переменил.

В конце сентября Дельвиг получил от Пушкина отрывки из второй главы «Онегина». Их держали в секрете; помимо Дельвига и Плетнева, об этих стихах знала, кажется, только любимая ученица Плетнева Софья Михайловна Салтыкова, которой через год предстояло сделаться баронессой Дельвиг, да подруга ее Александра Николаевна Семенова, жившая уже вне Петербурга. Семеновой 13 октября была послана «драгоценность» – автограф Пушкина; вероятно, стихи уже были набраны⁵⁰.

В первой половине октября Жуковский отдал Дельвигу стихотворение «Мотылек и цветы», «Водолаза» он так и не окончил.

1 ноября 1824 года А. Тургенев, повидавшись с Дельвигом, писал Вяземскому: «В „Северных цветах“ будет много прекрасного и любопытного»⁵¹. Тургенев пишет Вяземскому о «Цветах», Бестужев – о «Полярной звезде».

Как и ранее, Вяземский интересуется делами бестужевского альманаха, ободряет, обещает помощь. У Бестужева – большой запас стихов, но он обеспокоен отсутствием «мастерских штук» и сетует на Жуковского; он рассчитывает на Вяземского и на И. И. Дмитриева. «Пушкин – ни гу-гу.

Советуете ли Вы напечатать “Разбойников” или нет? Я в сомнении, ибо Воейков подвел нас»⁵².

Он уже знает, что к новому году «Звезда» не появится, и смирился с этим; торопиться с выпуском ее он не намерен, тем более, что Рылеева нет в Петербурге и неизвестно, когда он вернется.

Утром 7 ноября 1824 года Фонтанка вышла из берегов, а к четырем часам пополудни весь Невский проспект представлял собою сплошную водную поверхность с плавающими дровами и овсом; на набережной не было видно даже перил. Наводнение застало город врасплох; в нижних этажах тонули люди. Днем ветер переменился и вода стала убывать.

Александр Бестужев, по колено в воде, спасал имущество в затопленной квартире Рылеева.

К ночи вода совсем схлынула, и город погрузился в полную темноту; фонари были разбиты и сброшены ветром. Утро застало следы страшных разрушений. В окрестностях Петербурга целые деревни были смыты; по петергофской дороге считалось 600 человек утонувших; в самом городе в первые же дни было отыскано полторы тысячи тел.

Орест Сомов, к этому времени близко сошедшийся с издателями «Полярной звезды» и живший в одном доме с Рылеевым, писал ему: «... Северные цветы» подмокли в луковицах и, вероятно, не скоро расцветут. Александр (Бестужев. – В. В.) говорит, что они, вероятно, были прежде очень сухи, а теперь слишком водяны».

Дельвиг уже рассчитывал было разделаться с книжкой и съездить к Пушкину в Михайловское. Теперь печатание приходилось начинать заново. Пушкин был огорчен: «Жаль мне Цветов Дельвига; да надолго ли это его задержит в тине петербургской?»⁵³

Рылеев вернулся в Петербург к середине декабря. По пути он заезжал в Москву, где собирался печатать свои «Думы»: цензура в Москве была мягче, чем в столице. Что-то он читал единомышленникам, и раздавались голоса, призывавшие покончить с самодержавным правительством.

«Полярная звезда» на 1825 год будет последней: ровно через год издатели ее выйдут на Сенатскую площадь.

Пока что они публикуют объявление. Альманах замедлялся изданием и выйдет к святой неделе. Если это не охладит приема его в публике, успех будет вдвойне лестен, ибо пример «Звезды» уже возбудил соревнование. «Северные цветы, издание г. книгопродавца Сленина, вступает в непосредственное соперничество с Полярною Звездой. Предоставляя сему альманаху благоприятное время выхода в свет, желаем ему еще благоприятнейшего успеха»⁵⁴.

В этом объявлении, перепечатанном московскими и петербургскими журналами, не было и тени враждебности. «Соревнование» литераторов и книгопродавцев было частью просветительского плана Бестужева и Рылеева – и «Северные цветы» способствовали достижению цели. Но издатели «Звезды» не собираются уступать пальму первенства.

Тем временем «Северные цветы» выходят в свет.

В отличие от «Полярной звезды» и по примеру некоторых западных альманахов здесь были разделены стихи и проза. Книжку открывало обширное «Письмо к графине С. И. С.

о русских поэтах» – написанный Плетневым обзор современной поэзии; далее шла собственно проза. Почти весь отдел состоял из путевых писем и очерков – и каковы бы ни были достоинства каждого из них, они не искупали однообразия целого.

В «Полярной звезде» были повести Бестужева, восточные новеллы Сенковского, исторические анекдоты Корниловича...

Зато отдел «Стихотворения» едва ли не брал верх над «Полярной звездой».

Он открывался «Песнью о вещем Олеге», стихами Жуковского и баснями Крылова. Стихов Жуковского в новой «Звезде» не будет, Крылова – три басни против пяти в «Цветах»; Пушкина – отрывки из «Цыган», «Братья разбойники» и послание к Алексею против фрагмента «Онегина», «Олега», «Прозерпины», «Демона». В «Полярной звезде» не будет и Дельвига – в «Цветах» же он поместил едва ли не лучшее из написанного до сих пор.

Правда, в «Звезде» будут Рылеев, Языков и Грибоедов. Остальные делили свои приношения. Вяземский, Дашков, Козлов, Баратынский сотрудничали в обоих альманахах почти равномерно.

«Соревнователи», постоянные сотрудники и Рылеева, и Дельвига, поступали так же. Ф. Глинка, Плетнев трудились и для «Звезды», и для «Цветов». Александр Ефимович Измайлов, старейший член обоих обществ – Михайловского и «ученой республики», ворчал равно на оба альманаха, но стихи давал; он поместил в «Цветах» два мадригала безвременно скончавшейся Софье Дмитриевне Пономаревой, предмету его давнего платонического поклонения, маленькой Цирцее петербургского салона, чьих чар не избежали ни Дельвиг, ни Баратынский. Он принес басню «Черный кот», но почему-то в альманахах она не попала, и Измайлов сетовал на Дельвига⁵⁵.

Вслед за ним и его давний приятель и единомышленник, ратовавший вместе с ним против романтиков, Николай Федорович Остолопов поместил у Дельвига басню «Кот и белка», и приятельница Измайловского семейства, Марья Даргомыжская, мать впоследствии знаменитого композитора, явилась с басней «Два червяка».

За этой когортой баснописцев шли средние и младшие члены «ученой республики», начиная с Василия Ивановича Туманского, уже известного элегика, ныне жившего на юге; год назад он сблизился в Одессе с Пушкиным и посылал его стихи в «Полярную звезду». Туманский тянулся к Рылееву и Бестужеву, но был приятелем и Кюхельбекера, и Дельвига; последнему он посвятил послание, начинавшееся словами «Где-то добрый Дельвиг мой...»⁵⁶. От Туманского пришли две элегии, и одну дал его троюродный брат, Федор Антонович Туманский. Вкладчиками в оба альманаха были и Василий Никифорович Григорьев, молодой поэт, подражавший и Рылееву, и элегикам, и Михаил Петрович Загорский, совсем юноша, студент Петербургского университета, автор поэмы «Илья Муромец», баллад, идиллий и опытов в фольклорном духе. Он тяжело болен, и жить ему остается несколько месяцев; но он успеет еще увидеть напечатанными в «Цветах» свои переводы из Шиллера и Гете – «Перчатку» и «Царя Фулесского»⁵⁷. Он поэт «немецкой» ориентации, как и вся эта молодежь – Григорьев, Платон Ободовский, однокашник Григорьева по 3-й петербургской гимназии, впоследствии популярный драматург, наполнявший русскую сцену переводами трагедий и мелодрам. Ободовский наклонен к библейской и религиозно-аллегорической поэзии – и сейчас печатает «Весенний гимн вседержителю». Эти поэты не выдвинутся в первые ряды; их стихи будут почти неизбежной принадлежностью многочисленных альманахов, лишь изредка поднимаясь над уровнем «массовой поэзии» десятилетия.

Таково было содержание маленькой изящной книжки, напечатанной со всеми изысками тогдашнего типографского искусства, с виньеткой С. Галактионова и гравированной картинкой, изображавшей дом Тассо в Сорренто. Она принадлежала молодому художнику Александру Брюлло (Брюллову), жившему в Италии для усовершенствования таланта.

«Северные цветы» вышли в свет во второй половине декабря – а в начале января А. Е. Измайлов сообщал П. Л. Яковлеву, что среди словесников наступил «всеобщий мир». Бестужев рассказывал Вяземскому, как на вечере у А. А. Никитина, секретаря общества «соревнователей», пьяный Булгарин «лобызался» с Дельвигом **58**. Через несколько дней, 6 января, в только что основанной Гречем и Булгариным «Северной пчеле» появляется первый печатный отклик на «Северные цветы», подписанный Гречем – «Н. Гр.». Опытный журналист хвалил альманах – но так, чтобы видны были контуры будущей полемики. Лучшей прозаической статьей он считал путешествие по Греции (Дашкова), худшими – «Историю кокетства» Баратынского и, конечно же, «Прогулку» Воейкова. Лучшими стихами он объявлял песни самого Дельвига. О статье Плетнева он замечал, что это «антипод» обзоров Бестужева в «Полярной звезде» и должен вызвать споры. В заключение Греч громко заявлял о своих симпатиях к «Полярной звезде», которую ждал с особенным нетерпением.

12 января Бестужев пишет Вяземскому о своих впечатлениях. Он рассказывал, что альманах покупают, но не хвалят. Ему, как и Гречу, больше всего нравились стихи Дельвига. Жуковским и Крыловым он остался недоволен: один «на излете», другой «строчит уже, а не пишет». «Пушкин не в своей колее, – продолжал он, – а главный недостаток книжки есть совершенное отсутствие веселости – не на чем улыбнуться». Но более всего его раздражил Плетнев, пропевший «акафист» «Баратынскому и прочим».

Впрочем, оговаривался он, новая «Звезда» немногим будет лучше, ибо у издателей не хватило «ни ловкости, ни время». Он вновь просит у Вяземского «подмоги»: альманах уже начали печатать.

В то время, как он писал письмо, уже набирался обширный разбор «Цветов» в «Сыне отечества». Здесь выступали журнальные маски: некий «Ж. К.», некий «Д. Р. К.», спорящие друг с другом и с «Северной пчелой».

Споры были нехитрой журнальной тактикой: суждения «Пчелы» и Бестужева повторялись почти буквально. В «Ж. К.» и «Д. Р. К.» узнавали Греча и Булгарина; оба отрекались и ссылались на какие-то доказательства, которых никто не требовал.

«Д. Р. К.» писал, что «Северные цветы» не дурны, но и не так хороши, как объявлено в «Северной пчеле». Он осуждал обзор Плетнева, «Историю кокетства» и, конечно же, Воейкова, которому досталось в особенности. На свою беду Воейков отвечал и раскрыл источник своей статьи – и в следующих же номерах «Сына отечества» появилась еще одна критика, где доказывалось, что «Прогулка в селе Кускове» есть пересказ брошюры «Краткое описание села Спасского Кусково тож», вышедшей в Москве в 1787 году. Вслед за Гречем «Д. Р. К.» вознес хвалу Дашкову и благосклонно отозвался о Глинке и о Перовском, а затем, подобно Бестужеву, осудил новые басни Крылова. Он дополнил Бестужева только снисходительно-пренебрежительным отзывом о стихах его адресата – Вяземского.

Однако главным предметом споров оказались Жуковский, Баратынский и отчасти Пушкин. Эти три имени стояли в центре плетневского «письма о русских поэтах», их Плетнев объявил представителями наступающего золотого века русской словесности. Здесь была принципиальная позиция, и Плетнев еще больше подчеркнул ее в обширном отзыве о «Северных цветах», который напечатал под своим именем в «Соревнователе». Он писал о Жуковском как основоположнике романтической поэзии, находя у него картины «недоконченные для чувств, но ясные и понятные для души»; он обращал внимание на «Песнь о вещем Олеге» как на едва ли не единственный в своем роде образец национальной поэзии; наконец, он утверждал, что в «Черепе» Баратынский поднялся над Байроном. Все это Бестужев в письме к Вяземскому называл «акафистом Баратынскому и прочим»: имени Жуковского он не произнес из деликатности. «Д. Р. К.» повел на Жуковского прямую атаку. Его раздражало все: и метафорическое словоупотребление, и «таинственность»; в заключение он прямо ссылался на Бестужева,

повторяя его слова о «неразгаданной», «германической» поэзии. Критик заявлял прозрачно, что время Жуковского уже проходит.

Стихи Баратынского критик прошел молчанием, зато похвалы Плетнева таланту Баратынского объявил плодом дружеского пристрастия. Похвалы, быть может, были преувеличены – но и возмущение «Д. Р. К.» было чрезмерным. Ни утверждение Плетнева о новизне элегий Баратынского, ни формулы «истина чувств» и «точность мыслей» (позже перефразированные Пушкиным) не заслуживали такого обилия вопросительных знаков и недоуменных ремарок. И, наконец, коснувшись Пушкина и отдав должное его таланту, критик «Сына отечества» укорил в какой-то необычной для Пушкина «холодности» «Песнь о вещем Олеге».

Свою кисло-сладкую рецензию «Д. Р. К.» заключал похвалами песням Дельвига. Он пересказывал, таким образом, то, что думал о «Цветках» Бестужев, делая это достоянием печати. Его статья отражала мнение петербургского декабристского кружка, но оно было соединено с собственными симпатиями и антипатиями критика и с соображениями тактики и даже рекламы, потому что он то и дело поминал о «Полярной звезде».

Ему отвечал Николай Полевой со страниц новорожденного «Московского телеграфа». С издателями «Цветов» Полевой не был близок, хотя намеревался принять участие в альманахе, – но посланная им повесть опоздала. Что же касается Бестужева, Греча и Булгарина, то с ними он уже вступил в печатную полемику – и теперь публично заявил, что голосом «Д. Р. К.» говорят конкуренты нового издания. Он напоминал, что издателям «Звезды» не очень нравилось предприятие издателей «Северных цветов». Сам же он отказывался сравнивать альманахи, каждый из которых был хорош в своем роде. Полевой заметил, однако, что «Цветам» не хватает альманашной прозы, – и это было для него важно: в преобладании стихов он видел знак литературного младенчества и потому решительно не верил в плетневский «золотой век». Вообще, обзором Плетнева он тоже был недоволен: легковесен, противоречив, со странными понятиями: Александр Крылов – в числе первейших поэтов. Зато в стихотворном отделе Полевой находил перлы: «Демон» и «Песнь о вещем Олеге» Пушкина, «Мотылек и цветы» и «Таинственный посетитель» Жуковского, «Череп» и «Звездочка» Баратынского, весь цикл «народных песен», идиллия Дельвига. Он занимал как бы среднюю позицию в борьбе литературных групп⁵⁹.

Теперь слово было за самим Бестужевым: в «Полярной звезде» должен был появиться его литературный обзор.

Пушкин ждал в Михайловском выхода «Северных цветов». Лев Сергеевич уехал в Петербург еще в начале ноября. От него Пушкин узнал, что книжки «Цветов» попорчены водой и сам Дельвиг откладывает свой приезд в Михайловское. Он просит брата «торопить Дельвига». Его обуял бес терпения; ему хочется вырваться – все равно куда: в Петербург, за границу. Он требует к себе Левушку, Дельвига, Прасковью Александровну Осипову.

Дельвиг не приехал; приехал Пущин. 11 января на занесенном снегом дворе Михайловского дома прозвенел колокольчик, и произошла та знаменитая в русской литературе встреча, о которой мы знаем по запискам Пущина и пушкинским стихам. Пущин вез гостинцы: список «Горя от ума», петербургские рассказы, поклоны друзей и письмо от Рылеева с обращением на «ты». Рылеев восторгался «Цыганами». Пущин пробыл день и к вечеру уехал, увозя с собой отрывок этой поэмы для «Полярной звезды».

Может быть, он привез Пушкину и «Северные цветы»: он был в Петербурге неделю или более и, конечно, посетил Дельвига. Уже в январских письмах Плетневу и Вяземскому Пушкин упоминает «Письмо о русских поэтах» и стихи Вяземского, помещенные в «Цветках» – «Черта местности» и «Чистосердечный ответ»; первое стихотворение ему нравилось, второе казалось растянутым и вялым.

Но, быть может, более всего интересовало петербургских литераторов мнение Пушкина о статье Плетнева, вызвавшей столько критических толков. Ни Плетнев, ни Бестужев не скры-

вали своего желания вынести свой спор на третейский суд Пушкина; Бестужев высказывает свое мнение – конечно, отрицательное, – в недошедшем до нас письме к Пушкину; со своей стороны Плетнев жалуется ему на критиков, не умеющих ценить по достоинству ни Баратынского, ни Жуковского, ни самого Пушкина.

Все было тщетно.

Пушкину статья не нравилась.

«Согласен с Бестужевым во мнении о критической статье Плетнева», – писал он Рылееву 25 января. И в тот же день Вяземскому: «Как ты находишь статью, что написал наш Плетнев? экая ералаш!».

Уступая настояниям Плетнева, он отправил ему письмо с подробным разбором его статьи. Письмо это утрачено, но мы можем отчасти восстановить замечания Пушкина по ответу Плетнева от 7 февраля. Плетнев сумел победить свое авторское самолюбие. Он не защищался, а принял с благодарностью строгий дружеский суд.

Статья Плетнева была для Пушкина символом веры умирающей элегической школы. На эту школу Пушкин напал одновременно с Баратынским – и вполне естественно, что Баратынский был также недоволен Плетневым. Авторы лучших русских элегий не хотели более числиться в «элегиках», и плетневская апология служила им обоим дурную службу.

Именно господство «элегического» направления заставляло Пушкина критически оценивать современную русскую словесность. Он упрекал Плетнева за то, что тот выбрал отправной точкой для своих рассуждений Ламартина – кумира унылых элегиков, за чрезмерность похвал В. Туманскому и А. Крылову; за преждевременно провозглашенный «золотой век», за то, наконец, что Плетнев находил в современной поэзии разнообразие и «направление», которых она не имела. В статье Плетнева он, несомненно, усматривал следы еще доромантической, «карамзинской» эстетики.

Пушкин был согласен с Бестужевым в общей оценке статьи Плетнева, но это не значило, что он разделял все симпатии и антипатии издателей «Полярной звезды». Холодные отзывы о Баратынском вряд ли могли вызвать его сочувствие. По поводу «Вещего Олега» он возражал Бестужеву – деликатно, но твердо. И, наконец, еще одно несогласие его касалось Жуковского – и он прямо написал Рылееву, что нельзя «кусать груди кормилицы нашей» потому, что «зубки прорезались», и следует признать, что Жуковский «имел решительное влияние на дух нашей словесности»⁶⁰. В этом заявлении сказалась прежняя его принципиальная позиция: как бы ни отклонялось движение литературы от пути, избранного Жуковским, историческое значение его неоспоримо и требует уважения и объективной оценки. Помимо всего прочего, это была уже и позиция историка, начинавшего рассматривать литературную жизнь как часть культурно-исторического процесса, не зависимого от произволения того или иного критика. Спор о Жуковском продолжался уже на ином уровне – на более высоком уровне историзма, еще не освоенном декабристской литературой и публицистикой.

«Полярная звезда» печатается; 21 марта книжка выходит в свет. Вяземский, больной, убитый потерей ребенка, в последнюю минуту успевает прислать «подмогу»; Рылеев с чувством благодарит его.

«Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов» Бестужева, открывавший книжку, был эстетическим манифестом зрелого декабризма. Бестужев провозгласил идею национальной литературы и – насколько это было возможно в подцензурной печати – литературы гражданской. Среди новинок 1825 года он сказал и о «Северных цветах».

Отзыв Бестужева был весьма благожелателен. «Северные цветы. блистают всею яркостью красок поэтической радуги.» Он отметил – как Полевой – преобладание стихов над прозой, но и в последней выделил «статью г. Дашкова „Афонская гора“ и некоторые места „Писем из Италии“...».

Вечная бестужевская поспешность и небрежность! Раскрывать анонимы было не принято.

«Мне кажется, что г. Плетнев не совсем прав, расточая в обозрении полною рукою похвалы всем и уверяя некоторых поэтов, что они не умрут, потому только, что они живы, – но у каждого свой вес слов, у каждого свое мнение...»

Только и всего – взамен споров, обещанных Гречем. Но Бестужев избегает полемики с соревнующим изданием.

«Из стихотворений прелестны наиболее: Пушкина дума „Олег“ и „Демон“, „Русские песни“ Дельвига и „Череп“ Баратынского. Один только упрек сделаю я в отношении к цели альманахов: „Северные цветы“ можно прочесть не улыбнувшись».

Бестужев принял в расчет мнение Пушкина. О Жуковском он умолчал – и тем выразил свою позицию. В остальном он поднялся выше личных пристрастий: ему не нравился ни «Олег», ни «Череп». Но он поддерживал в глазах публики основное ядро «Северных цветов» – «союз поэтов» – Пушкина, Дельвига, Баратынского. При всех разногласиях эти люди никак не были его противниками – напротив. Что же касается «Песни о вещем Олеге», которую он не случайно (вслед за Плетневым) назвал «думой» – как у Рылеева – и песен Дельвига, – то они были для него знаком поворота к национальной литературе.

Бестужев отделил себя от своих подражателей, а вместе с ними и от «торговой словесности».

Глава II

НАКАНУНЕ 14 ДЕКАБРЯ

В журнальном движении, в шуме полемик, под знаком надвигающихся общественных потрясений русская литература вступала в 1825 год.

От этого года не дошло до нас почти никаких документов о деятельности двух литературных «вольных обществ». Самые общества рассеялись; активнейшие члены их сгинули на виселице, в сибирских рудниках, под пулями черкесов. Но закат обществ начался раньше, еще до 14 декабря. В них шло брожение, складывались небольшие кружки единомышленников, связанных общностью интересов и взглядов, симпатий и антипатий и даже бытовых уз. Вторая половина 1820-х годов – время кружков, а не обществ.

Историю литературной жизни этого времени нужно искать скорее в письмах и дневниках, нежели в официальных протоколах, и то, что вначале складывается в кружке, затем заявляет о себе полным голосом на газетных и журнальных страницах. Сам же кружок интимен; он не «функционирует», он живет обычной, домашней жизнью, с одной только особенностью: быт его литературен, и чтение чужих произведений и писание своих для него такая же повседневность, как дружеский визит или вечернее чаепитие.

Но что такое «дельвиговский круг» в 1825 году? Иван Иванович Козлов вел дневник.

Слепой поэт, прикованный к низкому передвижному креслу, брал в руки перо, чтобы написать письмо. Неровные, с трудом поддающиеся чтению строчки бежали наискось от верхнего угла листа к нижнему: шесть-семь строк на странице.

Иногда он диктовал дочери. Может быть, так, диктуя, он вел свой дневник – изо дня в день, почти без пропусков. Автографа дневника мы не знаем – он дошел до нас только в поздней копии.

Здесь, в этом дневнике, имя Дельвига появляется в 1825 году особенно часто – много что через день. Он приходит к Козлову один, со Львом Пушкиным, Плетневым, Жуковским, Гнедичем; приходит обычно вечером, когда подают чай и начинается чтение стихов. Он бывает на семейных праздниках Козлова и Жуковского, встречается с ними у Воейковой – «shire Svītiane». Он принят и на вечерах у Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола, сенатора, дипломата, знатока греческого языка и древностей, на досуге пишущего греческие стихи. Иван Матвеевич – отец трех сыновей, из которых один погибнет на эшафоте, другой будет сослан, а третий, совсем юный, выстрелит себе в рот на кровавом поле под Белой Церковью.

«Вечером я был у Муравьева, – читаем в дневнике Козлова под 9 января, – прелестный вечер, великолепный чай. Гнедич читал „Пояс Венеры“ из „Илиады“, я – отрывки из „Невесты Аб.идосской“ и мою балладу, Лев П. <ушкин> – „Цыган“. Была г-жа Муравьева К<атерина> Фед<оровна>, ее сын, князь Трубецкой, его жена, Корнилович, Дельвиг»¹. Гнедич – знакомец Муравьева и в некотором смысле коллега, может быть, он и приводит к нему Дельвига? Впрочем, есть и другие пути в этот дом: Екатерина Федоровна Муравьева – родственница хозяина и ближайшая знакомая Карамзиных, у которых постоянно бывают и Лев Пушкин, и Дельвиг.

Пройдет год – и приедут фельдъегери за участниками этого вечера: сыном Е. Ф. Муравьевой – Никитой, одним из вождей Союза Благоденствия, С. П. Трубецким, неудавшимся «диктатором» восстания на Сенатской площади, А. О. Корниловичем, пока еще – только издателем исторического альманаха «Русская старина».

И тогда Гнедич не побоится написать Е. Ф. Муравьевой письмо с выражением своего глубокого сочувствия и любви к ее сыну.

Сейчас же он читает им всем «Пояс Киприды» (отрывок из XIV песни «Илиады»)), который затем отдаст Дельвигу. И след этого вечера запечатлется на страницах «Северных цветов на 1826 год».

А Козлов подарит Дельвигу читанную им балладу – «Разбойник», из «Рокби» Вальтера Скотта, которую перевел накануне, – да видно, подарит не в добрый час: Вяземский, не зная ни о чем, напечатает ее в «Телеграфе», по старой, направленной копии, – за что и получит выговор от Александра Тургенева.²

После 12 февраля имя Дельвига на некоторое время исчезает из дневника Козлова. Его нет в Петербурге: приехал отец и увез его с собою в Витебск – как раз в тот момент, когда он собирался отправиться к Пушкину в Михайловское. Здесь он заболел и пролежал месяц в горячке.

Дельвигу делают кровопускание и ставят шпанские мухи, и он не знает, что находится на грани решительных перемен и что причиной их будет девятнадцатилетняя Sophie Салтыкова, дочь почетного «арзамасца», вольтерьянца XVIII века, известного умом, образованностью и мизантропией. Софья – ученица Плетнева по женскому пансиону Шретер, как и подруга ее Сашенька Семенова, в замужестве Карелина, которой она будет писать длинные французские письма, сообщая обо всем, что произойдет далее. Сейчас еще никто ни о чем не знает; еще подруги по неписанным законам всех пансионеров «обожают» своего «Плетьку» и переписывают в альбомы стихи «дорогого Пушкина», его друга поэта Дельвига и самого Плетнева, который рассказывает им о том и о другом. Но уже судьба «Сониньки» для Дельвига не безразлична – и в том виновата дружба Плетнева. Будущие супруги незнакомы – и уже почти знакомы; когда Дельвиг придет – начнется роман.

25 марта Рылеев послал Пушкину «Полярную звезду». В письме он спрашивал о Дельвиге: он знал уже и о болезни, о выздоровлении, и о том, что Дельвиг должен быть у Пушкина по пути в Петербург. Пушкин ждал с нетерпением.

Дельвиг приехал в середине апреля, привел в восхищение Пушкина и очаровал тригорских барышень, но не изменил обычной своей флегме. Больше всего он любил лежать на постели, перелистывая «Полярную звезду», где особенно нравилась ему «Смерть чигиринского старосты» – отрывок из рылеевского «Наливайки». Об этой сцене он, конечно, разговаривал с Пушкиным, и, по-видимому, сравнивал ее с другой – со знаменитой впоследствии «Исповедью Наливайки».

«Исповедь» была программой, лозунгом. Почти все критики, писавшие о «Полярной звезде», – Греч, Вяземский – ставили ее на первое место. Так думал и сам Рылеев.

Дельвиг, как и Пушкин, предпочитал «Смерть чигиринского старосты». В этом выборе сказывалась в первую очередь позиция эстетическая. Ни Дельвиг, ни Пушкин 1825 года не принимали декларативных стихов, поэзии обнаженно-дидактической. «Я не поэт, а гражданин...» Эта формула – из рылеевского же посвящения к изданию «Войнаровского» тоже была у них перед глазами. Пушкин вспоминал, что Дельвиг «уморительно сердился» на Рылеева за эти строчки – и не отставал от него в ироническом скептицизме. «Гражданствуй в прозе». И те же претензии – к «Думам», претензии совместные: «Цель поэзии – поэзия, – как говорит Дельвиг (если не украл этого). Думы Рылеева и целят, а все не в попад»³.

Отзвуки разговоров с Дельвигом слышатся в пушкинских письмах, написанных в конце апреля. По ним мы можем судить, что речь не раз заходила и о «Северных цветах». «. Зачем ты не хотел отвечать на письма Дельвига? – упрекает Пушкин Вяземского по свежим следам этих бесед. – Он человек достойный уважения во всех отношениях и не чета нашей литературной санктпетербургской сволочи. Пожалуйста, ради меня, поддержи его *Цветы* на след.<ующий> год. Мы все об них постараемся». И далее – уже просто под диктовку Дельвига: «Да нет ли у тебя и прозы?» И почти одновременно Жуковскому: «Кончи, ради бога, *Водолаза*»⁴ – вождь-ленного «Водолаза», будущий «Кубок» – стихи, обещанные Дельвигу для его альманаха.

«Мы все об них постараемся».

Решение Пушкина было твердо, но в апреле 1825 года вряд ли он знал определенно, что может дать Дельвигу. В марте он прислал в Петербург свои стихи, чтобы приготовить отдель-

ное издание; Лев Пушкин читал их у Карамзиных, у Козлова, у Воейковой, но не спешил с перепиской. Вторую главу «Онегина» Пушкин также предполагал напечатать отдельно и теперь отдавал Дельвигу переписанную набело – только для Вяземского, которого ждали в Петербург. Были еще «Подражания Корану», которые уже читали в столице, – и, вероятно, четвертое из них Пушкин отдал Дельвигу из рук в руки; во всяком случае в конце мая Софья Михайловна Салтыкова знала, что Дельвиг намерен печатать эти стихи⁵. Может быть, тогда же он получил и отрывок из «Цыган». Была еще проза – Пушкин, как мы помним, просил о ней и Вяземского. Вероятно, еще в конце 1824 года, прочитав книгу И. М. Муравьева «Путешествие по Тавриде в 1820 году», он начал набрасывать письмо к Дельвигу, точнее статью в форме письма, где рассказывал о впечатлениях, легших в основу «Бахчисарайского фонтана». Это «письмо» можно было сделать потом предисловием к поэме – Пушкин любил этот прием и позднее хотел сделать то же с «Борисом Годуновым». Нужно думать, что он предназначал эту статью-письмо еще для первой книги «Цветов», когда Дельвигу тоже нужна была проза, – но не окончил к сроку. И теперь еще, в апреле 1825 года, письмо не было окончено; Пушкин прислал его только в декабре с припиской, из которой как будто следует, что речь о напечатании его уже шла: «начала в самом деле не нужно».

Запас, привезенный от Пушкина, был, таким образом, не слишком велик, и Дельвиг выпросил пушкинскую черновую тетрадь⁶, из которой можно было, если Пушкин надумает, извлечь что-либо дополнительно.

27 апреля имя Дельвига вновь появляется в дневнике Козлова: он вернулся в Петербург. Петербургские литераторы ждали от Дельвига новостей о Пушкине.

Рылеев ждал, может быть, более других. Как мы уже могли убедиться, он знал обо всем, что случилось с Дельвигом за эти месяцы. Он общался со Львом Пушкиным и бывал на субботах Плетнева; связи должны были стать теснее с тех пор, как в апреле в Петербурге появился Кюхельбекер⁷. Но в дельвиговском кружке не знали в подробностях, какие разговоры вел Пушкин с Дельвигом о «Звезде», о «Войнаровском», о «Думах», – а именно это интересовало Рылеева более всего. Он увиделся с Дельвигом, видимо, в первую же неделю мая, и Дельвиг рассказал ему и о замечаниях Пушкина, и об одобрении им «Смерти чигиринского старосты»⁸.

Вслед за тем пришло и пушкинское письмо с подробной критикой.

Рылеев был несколько задет и огорчен.

...Пушкин суд мне строгий произнес
И слабый дар, как недруг тайный, взвесил...

Пушкину нравилось как раз то, что, по ожиданиям Рылеева, должно было привлечь его в последнюю очередь, и не нравилось то, чем дорожил сам Рылеев больше всего. «Исповедь Наливайки» нельзя было ставить ниже «Чигиринского старосты» – и в «Войнаровском» следовало обращать внимание совсем на иные места. Именно поэтому в рылеевском кругу осталось убеждение, что Пушкин «Войнаровского» не понял и не оценил⁹, убеждение странное, ибо как раз эту поэму Пушкин ставил весьма высоко.

О поэтическом предисловии к «Войнаровскому», несомненно, они говорили тоже, и Дельвиг не скрыл от Рылеева своих претензий. Во всяком случае, строчка «Я не поэт, а гражданин» начинает теперь шутливо-poleмически варьироваться в письмах Рылеева к Пушкину и Дельвигу. «Будь поэт и гражданин», – пишет он Пушкину, а Дельвигу составляет целое письмо, милое и дружеское, построенное целиком на этой строчке. «...Не поэт, а гражданин» желал Дельвигу здоровья и благоденствия и уведомлял о получении денег – «етой прозаической потребности, которая и поэта и гражданина мучит только тогда, когда нечего есть». «Сего со мною не было, – заключал он, – и потому гражданин Рылеев не помнил о долге поэта Бара-

тынского» 10. Это письмо послано 5 октября, и в нем нельзя усмотреть и тени личных неудовольствий, хотя слышны отзвуки принципиальных полемик.

Дневник И. И. Козлова.

Апрель 1825

28. Лев читал нам мелкие стихотворения своего брата. Аполлон, Дельвиг, Лев, г-жа Вейдемейер обедали у нас. Вечером Гнедич, Александр и Сергей Тургеневы. Я был в салоне. <...>

3 мая. <...> Вечером Лев, Дельвиг, Грибоедов, человек умнейший, каких мало. <...>

9 мая. <...> Вечером милые Тургеневы, Жуковский, Перовский, Дельвиг, Плетнев, Лев, жена моя и дети, все были в сборе. Позже прочли отрывок из «Энеиды», переведенный Жуковским, и его балладу «Кассандра». Мы расстались в 2 ч. ночи.

10 мая. Пришли Дельвиг и Кюхельбекер, этот оригинал. Вечером также Дельвиг и Плетнев. <...>

12. Тургенев, Жуковский, Пушкин (Лев), Дельвиг и Кюхельбекер пили чай. Много смеялись. Дельвиг так уморительно бесил Кюхельбекера. Позже декламировали стихи.

В лаконичной записи – след ссоры. Шутки Дельвига Кюхельбекер принимал всерьез. Он писал матери, что прежний друг стал ему чужим и каждый раз оскорбляет его «в том, что есть самого дорогого и священного» для его сердца¹¹. Самым дорогим и священным для Кюхельбекера, пожалуй, были его привязанности – сердечные и литературные. Если Дельвиг шутил над ними, это казалось Кюхельбекеру ничуть не забавно. Еще несколько ссор – и Кюхельбекер твердо решится избегать старинного приятеля: такими разрывами была полна его жизнь, и к ним привыкли; они не длились долго. Впрочем, в «Северных цветах» останется память о сердечных увлечениях Кюхельбекера: стихи «Поощада певца», посвященные юной Авдотье Тимофеевне Пушкиной, в которую он был влюблен и к которой даже сватался. Стихи появятся анонимно: когда выйдет альманах, Кюхельбекер будет уже «государственным преступником».

Но если Дельвиг действительно подшучивал над неудачной любовью «Кюхли», то сама судьба восстанавливала равновесие.

Вечера Козлова все чаще проходят без Дельвига. Он заходит утром 16 мая, чтобы передать в подарок слепому два галстука от «Светланы» – Воейковой, которая живет в Царском Селе. Затем он исчезает.

Теперь приходят Кюхельбекер, Жуковский, А. Тургенев, «Гнедич, который едет на Кавказ».

Гнедич в отпуске с 1 мая; все время собирается на Минеральные воды, но оттягивает отъезд; наконец, уезжает – до конца сентября¹².

Козлов пишет ему послание «на Кавказ и Крым», где вспоминает о Пушкине, «Бахчисарайском фонтане», восставшей Греции и Байроне. Послание – «Стансы к Николаю Ивановичу Гнедичу» – он отдаст Дельвигу для альманаха. Дельвиг добавит к нему и свое старое послание «Н. И. Гнедичу» – получится поэтический венок.

Но все это случится несколько позже. До 22 мая Дельвиг в Царском Селе¹³. Он каждый день у Салтыковых – и сумел расположить даже старого ипохондрика. Дочь в восторге от «очаровательного мальчика» в очках, который читает ей стихи и сопровождает на прогулках. «Даже его проза – поэзия, все, что он говорит – поэтично, – он поэт в душе» ¹⁴.

«24. <...> Плетнев, Химмелауэр, Дельвиг, Тургенев, Жуковский провели вечер за разговорами и чаем.

25. Дельвиг остался обедать. Около 6 час. Тургенев и Жуковский, который едет в Павловск и Царское. Лев (Пушкин) принес мне *чуждое послание ко мне своего брата Александра, что мне доставило чрезвычайное удовольствие* <...>

27. Дельвиг, мой брат, кн. Павел Гаг<арин>. Вечером кн. Волконская (Софья), потом к чаю Кюхельбекер. Мы любим чудака. Вечером граф Егор Комаровский, Тургенев.

29. <...> Вечером Плетнев, Лев и Дельвиг».

30 мая Дельвиг не приходит. Решается его участь: он делает признание Салтыковой.

31 мая Дельвига снова нет. Двоюродный брат его Рохманов едет говорить с Салтыковым, который, ни минуты не колеблясь, дает согласие на свадьбу.

1 июня Дельвиг и Салтыкова – уже жених и невеста.

«1 июня. Г-жа Вейдемейер. <...> Дельвиг, Плетнев и Лев <...>

5. Вечером Липпман, А. Тургенев, Крылов, Дельвиг и Пушкин, – после Кюхельбекер. <...>

11. <...> Вечером Кюхельбекер <...>

12 июня. Утром Воейков. Кюхельбекер обедал. – Вечером Баратынский, уже офицер. – Пушкин, Дельвиг – позднее Тургенев. <...>

Воскресенье, 14. <...> Пушкин, Плетнев, Комаровский, мой брат, его жена. Наши поехали в Царское село к г-же Воейковой (каждое воскресенье). Обедаю с Варенькой. Вечером Кюхельбекер.

16. Баратынский, А. Тургенев, г-жа Вейдемейер, Федоров, к чаю его брат (?), Баратынский, Плетнев <...>

17. Мой брат, его жена. Баратынский, Дельвиг, Пушкин.

18. Кюхельбекер. – Кн. Софья Волконская с дочерью и Александр Тургенев – остались до полуночи».

Далее нить теряется: за вторую половину года дневник Козлова не сохранился.

Мы успеваем только узнать из него о приезде Баратынского. Долгие и, казалось, безнадежные хлопоты о нем, наконец, увенчались успехом. 4 мая А. Тургенев писал Вяземскому о производстве его в офицеры. «Давно так счастлив не был» **15**.

В июне 1825 года Нейшлотский полк с прапорщиком Баратынским прибыл в Петербург.

Может быть, в ожидании этого приезда Пушкин и передал Дельвигу для напечатания два маленьких стихотворения, обращенных к Баратынскому, – «Я жду обещанной тетради» и «Сия пустынная страна»: они появились в «Северных цветах на 1826 год». Кажется, об этих стихах писал А. Тургенев А. Я. Булгакову: «Скажи Вяземскому, чтобы не печатал нигде двух маленьких пьес в списке стихов Пушкина, вчера посланных. Он их отдал Дельвигу» **16**. Письмо написано 28 мая, когда Баратынского ждали со дня на день. Стихи были сюрпризом, памятью, поэтическим приветом.

В Петербурге – конец ссылки, друзья, приутожившие освобождение, – Тургенев, Жуковский; Левушка Пушкин, Дельвиг, который тут же везет его к своей невесте. К свадьбе все готово; Баратынский и Жуковский должны быть шаферами. И вдруг все расстраивается, туча набегает на безоблачное небо: отец невесты чем-то разгневан, пишет грозное письмо, он полон недоверия и подозрений.

Дельвиг расстроен, растерян. Баратынский пытается успокоить его; они проводят часы в беседах о «Сониньке». Кажется, Карамзин пытался в эти дни воздействовать на Салтыкова **17**.

Баратынский, утешая друга, сам не вполне спокоен. В Петербурге обступили его старые и новые увлечения. Два его стихотворения в «Северных цветах» – маленькие элегии об охлаждении и измене: «К Аннете» и «Л. С. П<ушки>ну». Последнее стихотворение – видимо, след платонического соперничества из-за «Светланы» – Воейковой; еще в марте влюбленный в Воейкову Языков замечал предпочтение, оказываемое ею обоим поэтам, и ревновал **18**. Теперь Баратынский в стихотворном послании уступал Левушке пальму первенства. Он влюблен – и не на шутку – но уже не в Светлану: мыслями его владеет Аграфена Федоровна Закревская, эта «Магдалина», «вакханка», современная Клеопатра. Дерзко пренебрегая мнением света, она словно стремится держать своих поклонников в горячем упоении страсти – и Баратынский не избежал наваждения. Он знал ее еще по Гельсингфорсу: теперь они встретились в Петербурге.

Мы вспоминаем об этом потому, что на страницах «Северных цветов» ей предстоит появиться несколькими годами спустя – и потому еще, что в готовящейся книжке на 1826 год Дельвиг напечатает загадочное стихотворение Баратынского «Надпись», которое долгое время относили к Грибоедову:

Взгляни на лик холодный сей,
Взгляни: в нем жизни нет,
Но как на нем былых страстей
Еще заметен след.

Эти стихи удивительно напоминают то описание Закревской, которое сделал Баратынский в февральском или мартовском письме к Н. В. Путяте¹⁹. Может быть, и они адресованы этой женщине?

Баратынский не дождался свадьбы Дельвига: 11 августа он должен был ехать²⁰. За эти три петербургских месяца он успел снова войти в литературный круг. Он оставил «Эду» на попечение Дельвига, вероятно, тогда же отдал свои приношения в его альманах и не забыл Рылеева и Бестужева. Охлаждение не означало разрыва; в альманахе «Звездочка» должны были появиться эпилог к «Эде» и «Бал». Это было гораздо больше того, что получил Дельвиг. В эпилоге «Эды» звучали антидеспотические мотивы:

...слава падшему народу!
Бесстрашно он оборонял
Угрюмых скал своих свободу.

Связи восстанавливались, хотя и менее тесные, чем прежде. 21 июня приехал из Москвы Вяземский²¹. Вечером в первый день приезда он отправился к Козлову, слушал «Цыган», которых читал неутомимый Левушка, и узнавал последние новости о Пушкине. Он торопился в Ревель на морские купания и почти все дни проводил в Царском Селе. Даже с Бестужевым он не успел встретиться, и Бестужев потом горько упрекал его за небрежение, а Вяземский извинялся²².

Он бы, конечно, не встретился и с Дельвигом, если бы Дельвиг (как и Баратынский) не был завсегдатаем вечеров у Козлова.

Но он виделся с Дельвигом и тоже извинялся и оправдывался. У него не было стихов, обещанных для альманаха. Он объяснил Дельвигу, что «хоронил и умирал» и что только теперь, несколько оправившись, начнет высылать свои недоимки. Так он написал и Пушкину: «Для Цветов дам ему своей ромашки»²³.

Вяземский уехал 4 июля. Дельвиг зашел к Карамзиным попрощаться с ним²⁴. Затем ненадолго приехал Языков²⁵. Он тоже обещал помощь.

Все это время Дельвиг чувствует себя больным. Он потерял сон, аппетит; его лихорадило. На Михаила Александровича Салтыкова нашел очередной приступ ипохондрии, и он не уступал уговорам. Свадьба откладывалась. Ни Жуковский, ни Карамзин, казалось, ничего сделать не могли.

И при этом он должен был еще заниматься делами альманаха. «У меня куча дел по цветам, – пишет он невесте, – я целое утро должен разъезжать, должен бог знает об чем говорить, в то время, когда только об одной тебе думаю»²⁶. В Петербурге уже говорили о женитьбе Дельвига как о деле решенном, и это еще усугубляло тревожения. Федор Туманский написал поздравительный сонет. Дельвиг отдал сонет А. Е. Измайлову²⁷, который продолжал работать над своим альманахом. Вражда его с «союзом поэтов» уже отошла в прошлое. Он рассчитывает на сотрудничество Кюхельбекера, с которым встретился дружески.

Кюхельбекер не вернулся к Дельвигу: он менял свою литературную среду. После отъезда Грибоедова он поселился у Греча и стал сотрудником «Сына отечества»; он проводил время в обществе Рылеева и даже ездил с ним вместе в деревню. В ноябре 1825 года Рылеев принял его в тайное общество. Он ужился с Рылеевым – но с Гречем и Булгариным ужиться не мог: за несколько месяцев он убедился, что «литературные торгаши» «имеют все достоинства, кроме честности».

Теперь он с энтузиазмом помогал Измайлову и дал в его альманах «Календарь муз» восемь стихотворений. Все они вышли без подписи: альманах появился уже после 14 декабря²⁸.

У них больше не было стихов: и Измайлов, и Кюхельбекер отдают Дельвигу по одному стихотворению.

Трудно добывать материал: новые альманахи и журналы требуют пищи.

Мелькают дни, недели, месяцы.

4 августа Вяземский посылает Пушкину из Ревеля «Нарвский водопад» и требует замечаний. Это – стихи для Дельвига.

15 августа Пушкин посылает подробный разбор, отмечая стихи вялые, неточные или изысканные. 28 августа Вяземский отвечает – уже из Царского Села. Он вносит некоторые исправления и отдает «Нарвский водопад» в «Северные цветы»²⁹. Вероятно, тогда же он передает Дельвигу и другое стихотворение – «О. С. Пушкиной». С сестрой поэта он познакомился коротко там же, на морских купаньях, и даже, кажется, увлекся «милым, умным, добрым созданием», с которым проводил целые дни в беседах о ее брате и своем приятеле. Собственно говоря, и послание было стихами не только о ней, но и о нем, об Александре Пушкине, с его бурной судьбой, требующей спокойного участия дружбы. В «Северных цветах» они приобретали особый смысл. Это был знак памяти, знак связи.

Дельвиговский кружок, как и ранее, делал дружескую связь фактом литературы.

Пушкин обращал стихи к Баратынскому.

Баратынский – ко Льву Пушкину.

Вяземский – к Пушкину.

Дельвиг и Козлов – к Гнедичу.

Плетнев писал дружеское послание к Дельвигу – послание почти домашнее: «Д***, как бы с нашей *ленью* Хорошо в деревне жить...»

Во всем этом была некая принципиальная позиция, которая приобретала совершенно особые оттенки, когда один из друзей оказывался в ссылке, как Пушкин, или в опале, как Баратынский.

Ближайший дружеский круг снабжал Дельвига материалом.

Иван Иванович Козлов был одним из усерднейших вкладчиков. Он дал пять стихотворений: отрывок из перевода «Освобожденного Иерусалима» Тассо, «Стансы к Гнедичу», о которых уже была речь, переводы из Байрона («Еврейская мелодия») и из ирландского поэта Чарльза Вольфа. Это последнее стихотворение – «На погребение английского генерала сира Джона Мура» – стало довольно популярным; ему потом подражал Лермонтов. Еще одна маленькая пьеска Козлова была посвящена княжне Стефании Радзивилл, юной выпускнице Екатерининского института. Плетнев написал к этому посвящению стихотворный постскрипtum – мадригал одновременно и девушке, и слепому поэту. Из четырех стихотворений Плетнева три оказались посвящениями: Дельвигу, Радзивилл и Софье Михайловне Салтыковой. Своей бывшей ученице он адресовал сонет, где прозрачно говорил о ее свадьбе с Дельвигом. Итак, все же сонет на свадьбу попал на страницы альманаха – но, конечно, написан был он уже после 30 октября, когда, наконец, сопротивление Салтыкова было сломлено и дочь его стала баронессой Дельвиг.

Быт кружка становился литературой.

Федор Антонович Туманский, подаривший Дельвигу свою эпиграмму слишком рано, был наказан за поспешность: его сонет, подаренный Измайлову, почему-то не был напечатан и канул в вечность. Он, видимо, не был обижен, потому что продолжал трудиться для альманаха в поте лица. Судьба вообще, кажется, обделила его авторским честолюбием; в Москве, где он учился в университете, на отделении словесных наук, даже не знали, что он пишет. Левушка Пушкин, служивший с ним в Департаменте духовных дел с 1821 года, познакомил его с Дельвигом и Баратынским, которым он был под стать если не талантом, то нищетой и беспечностью. Путята, конечно, со слов Баратынского, передавал забавную сценку: Дельвиг и Баратынский прогуливались однажды без гроша в кармане по Невскому проспекту и рассуждали, где бы отобедать. Встреча с Туманским прервала их беседу. «Где ты обедаешь сегодня?» – «*Chez le grand Restaurateur*» (у великого Ресторатора), – отвечал Туманский протяжно и подняв глаза к небу.

Как поэта Федора Туманского «открыл» Дельвиг. От него дошло до нас всего десять стихотворений – и из девяти, напечатанных им при жизни, четыре появились в «Северных цветах на 1826 год» – почти половина его литературного наследия! Три элегии и «Молитва» его были совершенно в духе традиционной элегической школы, но их ценили: почти через семь лет Воейков перепечатает их из «Северных цветов» в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» и даже произнесет им особую похвалу. В эти годы Туманский особенно близок к кружку: он очень дружен с Левушкой Пушкиным, постоянно бывает у Дельвига и даже, кажется, помогает им при переписке для издания пушкинских стихотворений³⁰.

Старинное знакомство привело в альманах еще двух человек.

Алексей Дамианович Илличевский, «Олосинька» первого лицейского выпуска, только что вернулся в Петербург после двухлетнего заграничного путешествия. Лицейские одноклассники, недолюбливавшие его за карьеризм и подозрительный характер, не без иронии рассказывали друг другу, что он марширует по столице в золотых очках с видом наблюдателя и мечтает быть кавалером разных орденов. Перед отъездом он имел неудовольствие с Дельвигом: он полагал, что барон, на правах цензора поэзии в Вольном обществе любителей российской словесности, ограничивает его стихам доступ в «Соревнователь» и не допускает перевод из «Лузиады» Камюэнса – предмет его авторской гордости. По пути за границу Илличевский остановился в Дерпте, где свел знакомство с Языковым; отношения были даже дружеские, и он оставил Языкову тетрадь своих стихов с правом печатать где хочет и даже исправлять. От последнего права Языков благоразумно отказался. В марте 1825 года Языков прислал эту тетрадь в Петербург для возвращения по принадлежности, а в апреле Илличевский появился в столице сам и возобновил свои литературные связи³¹. Он предложил Дельвигу пять небольших стихотворений – если не все, то часть их была написана еще до отъезда – и путевой очерк «Путешествие на Сент-Бернард». Остро нуждаясь в прозе, Дельвиг должен был принять даяние с благодарностью, хотя очерк вызывал потом нападки; к стихам же Илличевского он всегда относился скептически: это были искусно обработанные, не лишенные изящества и даже остроумия поэтические безделки, почти всегда переводные, но без оригинальности и чаще всего без поэтического чувства. Илличевский видел в них русскую поэтическую «антологию», усовершенствующую стихотворный язык.

Вторым новым лицом был Иван Ермолаевич Великопольский, напечатавший у Дельвига мадригальное стихотворение «К подаренному локону».

Этот поэт остался в литературе почти исключительно благодаря эпиграммам Пушкина, на которые он в свое время очень обижался. В начале 1820-х годов он, однако, пользовался некоторой, хотя и ограниченной известностью. Он был членом обоих петербургских литературных обществ и помещал стихи в «Благонамеренном». Он знал довольно коротко Дельвига и И. И. Пущина и не вполне прервал с ними связь, когда перешел на службу в Староингерманландский пехотный полк, стоявший то в Пскове, то в его окрестностях. Здесь он встретился с Пушкиным, играл с ним в штосс – не всегда удачно и отсюда же посылал стихи в петербургские

журналы. Когда вышла книжка «Цветов» с его стихотворением, Дельвиг послал ему экземпляр с надписью «Милому поэту»; Великопольский был растроган и откликнулся длинным посланием, где попутно задел Ореста Сомова и «Фаддея» – «отца безмедных пчелы», который, рецензируя альманах, прошел его детище совершенным молчанием. В конце 1826 года он приехал в Петербург и побывал у Дельвигов³²; плодом этого визита, видимо, было появление в «Северных цветах на 1827 год» нового его стихотворения «Воспоминание (Из Ламартина)».

Таковы были основные «вкладчики». По одному – двум стихотворениям дали прежние участники «Цветов». Востоков, столь щедро снабжавший Дельвига в прошлом году, поспешил на этот раз: он дал одну, хотя и весьма примечательную «сербскую песню» – «Строение Скадра» и небольшое стихотворение «К друзьям» – то самое послание к Гнедичу, которое так ценили Плетнев и Дельвиг. Одно стихотворение – «Развалины» – принес Масальский, одну «Элегию» – М. Л. Яковлев; Платон Ободовский дал два фрагмента из довольно обширной «персидской поэмы» «Орсан и Леила», еще какой-то «А. Ог-в» малозначительное «подражание Скаррону» («Моя эпитафия»). Две пьесы появились анонимно – «14 сентября 1824 г.» и «Фирдоуси» – своеобразная восточная аллегория, не случайно соседствующая с восточными аллегориями Федора Глинки: легенда о великом поэте и неблагодарном властителе – тема, излюбленная «соребнователями» и подхваченная декабристами. Наконец, у Дельвига были два стихотворения Батюшкова – «К N. N.» – послание к С. С. Уварову, написанное еще в 1817 году, и «Подражание Ариосту» – изящный антологический фрагмент, также из последних стихов. Эти стихи Дельвиг привозил Пушкину в Михайловское, и Пушкин сделал копию и послал Вяземскому³³.

Это было все, чем располагал или мог располагать Дельвиг летом 1825 года. Свои собственные поэтические запасы он исчерпал почти полностью: в альманах ушли все его стихи последнего времени – кроме лицейской песни, написанной ко дню 19 октября. Это были две «русские песни» – «Две звездочки» и ставший потом знаменитым «Соловей мой, соловей», одно маленькое альбомное стихотворение («В альбом С. Г. К-ой»), большая идиллия «Друзья» и две антологические эпиграммы «Мы» и «Эпитафия». Последняя была надгробным приношением: она была посвящена памяти Софьи Дмитриевны Пономаревой. Дельвиг прощался со своей прежней привязанностью; последний раз на страницах альманаха мелькнет образ этой женщины, которая будет еще некоторое время вызывать запоздалую ревность у Софьи Михайловны Дельвиг. К этому собранию стихов он добавил и два ранних – трех- или четырехлетней давности: уже упомянутое нами посвящение Гнедичу и эпиграмму «Луна»; ранние стихи уже его не удовлетворяли, он не был уверен в их достоинствах и потому не поставил под ними полной подписи, а только инициал³⁴.

Нужны были поэты, нужны были художники.

И нужен был – по примеру «Полярной звезды» – критический обзор, открывавший альманах. Но как раз критика в дельвиговском кружке не было. Статья Плетнева в прошлой книжке показывала это как нельзя лучше. Как бы ни спорить с Бестужевым, нельзя было не признать, что обзоры его превосходят плетневский во всех отношениях – и прежде всего по ясности и оформленности эстетической позиции. Здесь сказывалась не только разница талантов, но разность самих литературных групп. Кружок Рылеева и Бестужева имел общественную программу – это была теперь программа Северного тайного общества. Она направляла перо литератора, диктуя ему оценки, определяя его симпатии и антипатии. Критическая статья превращалась в декларацию; ее эстетические – а с ними и общественные – идеи читались без труда: национальная литература, гражданский романтизм с неизбежной социальной дидактикой, антидеспотический дух. Если затем в альманахе поместить несколько произведений в этом же ключе – он получит свое лицо.

«Полярная звезда» имела свое лицо.

Она начинала сближаться с *журналом* – не по внешним признакам, а в самом своем существе. Она проводила свою политику – общественную и литературную.

Мы увидим далее, что слово «журнал» все чаще будет произноситься литераторами, сочувствовавшими Рылееву и Бестужеву. «Северные цветы» не могли перерасти в журнал.

Это был типичный альманах и порождение «века альманахов», исчезнувшее вместе с ним. Кружок Дельвига не складывался в литературно-общественную группировку, которая могла бы выступить с прямой декларацией. Его объединяли не программы, а общественные и эстетические тяготения. Он был тем, что современные социологи назвали бы, вероятно, «неформализованной группой», и в ней особое значение приобретали связи литературно-бытовые, связи людей «кружка», но не литературной «партии».

Дельвиг, Баратынский, даже Плетнев были затронуты общественными веяниями декабристской эпохи, они сочувствовали многому, что содержалось в декабристских программах, – и уж, конечно, не сочувствовали ни российскому деспотизму, ни мистицизму, ни засилью цензуры. Они не были и не могли быть принципиальными врагами издателей «Полярной звезды». Но они не могли быть и их единомышленниками и союзниками; они либералы, не революционеры.

Они – романтики, и гражданский пафос не чужд им; он выливается иной раз в резких эпиграммах, как эпиграмма Баратынского на Аракчеева. Они чуждаются мистического романтизма Жуковского, и придворная его служба им не по душе. Но и гражданская поэзия – не их сфера, и они равным образом удаляются от эстетических деклараций декабризма, соприкасаясь с ними лишь там, где речь идет о поэзии Байрона, о неприятии официоза, об устремлениях к национальным поэтическим истокам – к народной поэзии. Именно поэтому они никогда не станут рассматривать Жуковского только под социальным углом зрения и не выступят против него как против принципиального противника. Эстетическая сфера для них более автономна, чем для идеологов декабризма. Здесь идеалы их – аморфнее, абстрактнее – но шире.

Их влечет к себе гармоническая античность – искусство времени наивного детства человечества – так они думают. В этом воскрешении есть нечто от социальных утопий, с их извечными грезами об утраченном золотом веке. Они полны внимания к пластическим искусствам и к живописи. Они не утратили интереса и к элегии, с ее психологическим и философским началом.

Их искусство – внеполитично, но отнюдь не внесоциально. И сами они вовсе не отгорожены от общественной жизни. Не деяния декабристов, не декларации их, но самый пафос неприятия официальной России уже пустил корни в их среде. На службу правительству они не станут и приютят у себя запрещаемые стихи каторжников. Пройдет несколько лет – и неблагоприятное внимание Бенкендорфа обратится на кружок, которому отныне суждено будет оставаться под вечным подозрением до смерти Дельвига. И подозрения, нужно сказать, будут не совсем лишены оснований. «Неформализованная группа», с ее позицией, скорее отрицательной, чем положительной, в эпоху всеобщих «поправлений» окажется хранилищем идей и воспоминаний, о которых следует забыть.

Самая интимность кружка станет чуть что не гарантией его устойчивости.

Но сейчас, в 1825 году, эта интимность контрастирует с накаляющейся общественной атмосферой. В ней «Северным цветам» декларировать нечего. И они никогда не станут журналом.

«Северные цветы на 1826 год» открываются не литературным, а художественным обзором.

В руках Дельвига был маленький фрагмент пушкинских «Цыган» – отрывок об Овидии.

Он хотел поместить к нему картинку и отправился за этим к академикам живописи. Академики взялись, но ни один не преуспел.

Тогда Дельвиг обратился к Василию Ивановичу Григоровичу, секретарю Общества поощрения художников, человеку весьма замечательному³⁵.

Василий Иванович Григорович был связан с художниками не только по должности своей, но и своими симпатиями и помыслами. Он был близким другом Ф. П. Толстого, и самая идея общества, которое бы поощряло русских художников и создавало для них аудиторию, принадлежала ему. Он помогал потом и Федотову, и Шевченко, а в 1824 году писал записку о создании национального музея, «Русского музея», дабы споспешествовать развитию русского искусства и отклонять публику от «гибельного для талантов отечественных» пристрастия к «иностранцам». Еще в 1818 году он входил в ложу «Избранного Михаила», где собрались главные члены Союза Благоденствия, а затем был секретарем «Вольного общества учреждения училищ по методу взаимного обучения»; уже в это время у него установились связи с Ф. Н. Глинкой, Гнедичем, Кюхельбекером, Н. Бестужевым. Вероятно, тогда же он познакомился с Дельвигом и Плетневым; когда в 1823 году он стал издавать «Журнал изящных искусств», он пригласил Плетнева сотрудничать на льготных условиях, и Плетнев печатал у него стихи и рецензии. Они бывали в одних и тех же домах – у Толстого, иногда у Оленина³⁶.

Григорович написал для Дельвига целый трактат «О состоянии художеств в России» – первый очерк истории русского искусства, занимавший почти сто альманашных страниц. В нем были все идеи, которым служил неутомимый энтузиаст. Григорович писал, что развитие изящных искусств есть следствие и условие распространения просвещения; что в России уже были свои «гении» (он так и говорил: «гении», вспоминая о зодчем Какоринове и ваятеле Козловском), и будет еще более, если общество будет поощрять отечественных художников; он перечислял превосходнейших художников новейшего времени: Мартоса, Захарова, Егорова, Шебуева, Щедрина, Кипренского и иных и прилагал гравюры с картин и скульптур. Григорович был «классик», требовавший от искусства «верного вкуса» древних – строгости и гармонии. Он понимал национальное искусство иначе, нежели теоретики гражданского романтизма – но сходил с ними в основной идее. Эту-то идею – национального искусства – и провозглашали теперь на своих страницах «Северные цветы».

Статья Григоровича была у Дельвига в начале октября, и он беспокоился, пропустит ли ее цензура. Он посылал Григоровичу «две пьесы» Ф. Н. Глинки, прошедшие сквозь горнило, и жаловался, что собственная его идиллия «Друзья» была признана «развратной и соблазнительной». Он просил, чтобы Григорович сам похлопотал о своей статье и обещал в благодарность сочинить для него идиллию. Он шутил, конечно, – но шутил всерьез³⁷.

Григорович упрекал русских писателей, что они молчат о русских художниках, – быть может, потому, что мало знакомы с художествами. Дельвиг был счастливым исключением. «Художников друг и советник», – говорил о нем Пушкин, которого Дельвиг иной раз водил по выставкам и мастерским.

Он посвятил Григоровичу идиллию «Изобретение ваяния» – хотя не о русских художниках, но о художествах вообще.

Шла осень 1825 года.

Альманах еще не был собран окончательно, хотя наличный запас уже поступал в цензуру.

Поэты, кажется, были не при стихах. Языков в Дерпте жаловался на безмолвие своей музы.

Его осаждал просьбами Егор Аладьин, издававший «Невский альманах». Языков досадовал и отмахивался. Заботился он, пожалуй, об одной «Звездочке» Бестужева и Рылеева: он послал для нее весной «Зависть гения» («Гений»), а теперь, 16 августа, отрывок из недавно задуманной стихотворной повести из жизни эстов – описание восхода и заката на Чудском озере. Больше у него ничего не было; Аладьину он собирался послать старые элегии с тем, чтобы печатать анонимно. 20 сентября он пишет брату, что не надеется хоть что-нибудь послать вовремя Дельвигу.

Вяземский уехал к себе в Остафьево и не подавал признаков жизни.

От Жуковского Дельвиг в этот раз не получил ничего.

Буквально на его глазах Лев Пушкин переписывал начисто «Разные стихотворения» Александра Пушкина; Плетнев должен был наблюдать за изданием.

Он написал Пушкину и просил у него «Андрея Шенье», новинку, жемчужину, которой Пушкин сам гордился. Текст элегии был у Льва – но нужно было согласие автора, чтобы Лев изъясил стихи из тома. «Разные стихотворения» могли выйти раньше альманаха, и тогда напечатание стихотворения в «Цветах» лишалось смысла.

Пушкину не хотелось отдавать «Андрея Шенье»; он хотел приберечь новинку для своей книжки. Он предлагал взамен строфы «Онегина» – той самой второй главы, которую сам же Дельвиг передал от Пушкина Вяземскому³⁹. Подарок был завидный – десять строф, четверть всего текста – но у Дельвига их не было в руках, а Вяземский исчез. Нужно было списываться и просить копию.

Вяземский сам был в хлопотах в это время. Он деятельно помогал «Московскому телеграфу»: журнал требовал пищи. Он помнил, что за ним еще долги – Дельвигу и Бестужеву с Рылеевым, но рассчитывал, что его хватит на всех: он воспрянул после ревельских купаний, и ему писалось. Литературная жизнь в Москве как будто оживала, и это побуждало его к деятельности. В начале октября в Москву приехал Баратынский: здесь жила его семья, его мать, сильно постаревшая и больная; Баратынский скрепя сердце должен был остаться в Москве. Вяземский встретил его, угнетенного и полубольного, и очень ему обрадовался: за две недели старое знакомство перерастает в дружескую приязнь⁴⁰. Среди забот и хлопот по делам литературным и нелитературным он успевает напечатать несколько статей в «Телеграфе» и еще свести новые знакомства. В середине октября он просит у Пушкина дополнительно стихов для альманаха «Погодина университетского», человека, как он слышал, хороших правил.

Тем временем петербургские «альманашники» ждут доли Вяземского. 30 октября Бестужев отправляет ему сердитое письмо. Он печатает «Звездочку», недоволен стихотворной ее частью и упрекает Пушкина и Вяземского за неисполнение обещаний. Вяземский отвечает только 18 ноября – он ездил по делам в свое костромское имение. «Дайте срок – справлюсь и исправлюсь... Через неделю доставлю свой оброк»⁴¹.

Дельвигу же в эти дни не до писем. 29 октября он отнес в цензуру свой альманах – все, что ему удалось собрать⁴², и на следующий день играет свадьбу.

В маленькую квартирку молодых на третьем этаже дома Эбелинг в Большой Миллионной приходят гости. Почти каждый день заходит Лев Пушкин; Плетнев, Ф. Туманский – постоянные посетители, реже бывают Гнедич, Лобановы – драматург Михаил Евстафьевич с женой. У Козловых, Воейковой Дельвиги бывают сами. Когда при первом знакомстве Софью Михайловну подвели к Козлову, слепец ошупью нашел ее руки и стал целовать; она была рада и тронута⁴³. По субботам собирались у Плетнева – как и прежде, это был день литературных вечеров.

«Поздравляю Вас от всего сердца, любезнейший Барон, и прошу поздравить за меня м. г. Софью Михайловну, – писал Дельвигу Дашков. – Как скоро удосужусь, то непременно явлюсь к ней с личною просьбою принять меня в свое благорасположение как старинного друга ее семейства.

Я было воспользовался свободными от службы минутами и очень подвинул свою статью: у меня уже написано более половины, т. е. около трех четвертей прежней печатной статьи. Но между тем как я занимался межеванием храма Иерусалимского, мне досталась по законодательной части огромная работа о *специальном межевании* казенных и помещичьих земель. Что делать? поневоле пришлось оставить на время Сирию и окунуться в межевую инструкцию. Однако же я не изменю вам: пока будут переписывать первую часть моей работы для Комис-

сии (которая почти готова), я успею кончить работу для Вашего Цветника. Преданнейший вам Дашков. Середа»**44**.

В письме, как и в жизни, дела семейные и альманашные шли рядом. Молодая супруга переписывала своей рукой поступающие рукописи.

Дашков готовил для Дельвига две новые статьи: «Русские поклонники в Иерусалиме. (Отрывок из путешествия по Греции и Палестине в 1820 году)» и «Еще несколько слов о Серальской библиотеке».

В конце ноября почти весь собранный Дельвигом материал уже вышел из цензорских рук и около половины было напечатано. Остались «недоимки». Он пишет к Языкову, напоминая о данном обещании. Языков в отчаянии: стихов нет, а претендует на них еще и Измайлов. Он пишет брату 6 декабря и просит отдать Дельвигу отрывок «несуществующей повести „Ала“» – не весь, а вторую половину. Стихи были написаны год назад, и началом Языков был недоволен. Имени своего он выставлять не хотел. А. М. Языков поспешил выполнить просьбу – и отдал все. Автор подосадовал – и махнул рукой. Больше стихов у него не было – ни для Измайлова, ни для кого бы то ни было**45**.

28 ноября Дельвиг отправил письмо Вяземскому.

Вяземский сулил ему прозу и четыре или пять стихотворных «пьес» и теперь должен был поторопиться. Малейшее промедление было губительно. Но Дельвиг был и сам виноват, отложив свое письмо до конца ноября. Он поступил тем более опрометчиво, что в письме возлагал на Вяземского дополнительные комиссии. Пушкин позволил ему взять в альманах десять строф из второй главы «Онегина», и Дельвиг просил Вяземского дать списать их или поручить это Баратынскому. Он сообщал также, что прилагает письмо к Ивану Ивановичу Дмитриеву и просит замолвить за него словечко**46**. В спешке он, вероятно, забыл вложить самое письмо: Вяземский, во всяком случае, не получил его, а получил сам Дмитриев.

Вяземский, однако, помнил о Дельвиге. Еще в начале ноября он отправил ему через Жуковского часть своего «оброка» – «Коляску» и «другие мелочи», а теперь собирался – тоже через Жуковского – переслать «К мнимой счастливице». Прозы готовой у него не было.

Отрывки из «Онегина» Вяземский обещал доставить немедленно, как только доберется до злополучной тетради: он писал из Остафьева, а тетрадь оставалась в Москве**47**. Письмо он отослал в Москву к Баратынскому и воспользовался случаем пригласить в Остафьево своего нового приятеля, который становился теперь связующим звеном между ним и Дельвигом**48**. Вяземский удовлетворен: «В „Северных цветах“ будет довольно моих новых стихов, если только цензура пропустит»**49**.

И не Вяземскому ли Дельвиг был обязан появлением в «Северных цветах» еще четырех стихотворений: Шевырева («Вечер» и «Лилия и роза»), Ознобишина («Мир фантазии») и Раича («К Лиде»)?

Все эти московские поэты были так или иначе связаны с «Погодиным университетским», об альманахе которого Вяземский ходатайствовал перед Пушкиным.

С Семеном Егорьевичем Раичем Вяземский был знаком ранее, чем с другими. Он был и старше остальных своих товарищей, которые делали первые шаги в литературном обществе под его руководством. Общество составилось из питомцев Благородного пансиона при Московском университете, где Раич преподавал; Д. П. Ознобишин был секретарем**50**; девятнадцатилетний Шевырев – активным членом. В обществе, правда, шло брожение – уже недалек был тот день, когда бывшие ученики отложились от Раича и образовали свое собственное общество. Но сейчас Раичев кружок еще клонился к своему концу довольно мирно и выступал чуть что не в полном составе имен в «Урании» – такое название получил погодинский альманах. Он оставил свой след и в «Северных цветах».

Последним отозвался на просьбу Дельвига Дмитриев.

Иван Иванович писал любезно, даже галантно, и несколько жеманно. В письмах он покидал тон непринужденного простодушия, какой принимал в личных беседах. Вяземский говорил, что он застегивает мундир.

Он выражал признательность за вторичное приглашение и рассказывал, чего стоило ему победить в себе авторское самолюбие и склониться на просьбы «бросить в. кошницу с яркими и свежими цветами зимний листок, сухой и бледный». «Из малого числа безжизненных стихов» он избрал две пьесы, которые и отдавал на растерзание классиков и романтиков. «Старость уже не так шепетильна, как молодость»⁵¹.

Иван Иванович кокетничал. Имени своего под стихами, впрочем, не поставил.

Он прислал «Надпись к портрету лирика» – Василия Петрова – и «Подражание 136 псалму».

На чуждых берегах, где властвует тиран...

Дмитриев не подозревал, что именно он посылает Дельвигу и как будут читаться его стихи, когда они дойдут до Петербурга.

...наш мститель в небесах,
Содрогнись, чадо Вавилона!
Он близок, он гремит, низвергнись со трона...

Письмо Дмитриева было написано 14 декабря.

Вечером 14 декабря колонны пленных отправлялись рядами от памятника Петру I в Петропавловскую крепость.

На опустевшей Сенатской площади стыли под ветром трупы. Стекла в соседних домах были выбиты, и картечь пробороzdила стены Сената.

Солдаты грелись у горящих костров; жерла пушек смотрели в каждую улицу вокруг дворца.

На квартире Рылеева прощались с хозяином и между собой Оржицкий, Каховский, Штейнгель. Около восьми часов явился Булгарин. Рылеев вывел его в переднюю. «Тебе здесь не место. Ты будешь жив, ступай домой. Я погиб! Прости! Не оставляй жены моей и ребенка». Поцеловал – и вытолкнул за дверь, дав в руки пакет. В пакете были рукописи. Булгарин сохранил их.

Четырьмя часами позже за государственным преступником приехал с солдатами флигель-адъютант Дурново.

На следующий день на гауптвахту Зимнего дворца пришел Бестужев.

– Я Александр Бестужев. Узнав, что меня ищут, явился сам.

Он был прост и спокоен, как будто и не он сутками раньше строил Московский полк в каре на площади. И тот же парадный вид: мундир, гусарские сапоги, белые панталоны⁵².

16 декабря на Толбухинском маяке арестовали Николая Бестужева. В Петербурге, в Москве, на границах России искали по приметам бежавшего Кюхельбекера.

3 января под Белой Церковью был разгромлен восставший Черниговский полк.

Не было больше ни Муравьевых, ни Муравьевых-Апостолов, ни «рыцарей Полярной звезды», ни Корниловича, издателя «Русской старины», ни Александра Одоевского, ни Николая Тургенева.

В Алексеевский рavelин привезли Ореста Сомова. Он служил вместе с Рылеевым в Российско-Американской компании и жил с Бестужевым на одной квартире. Перепуганные обыватели называли его чуть что не зачинщиком мятежа. О нем спрашивали Рылеева; тот отозвался, что Сомов даже по характеру своему неспособен участвовать в заговоре. Его держали

в крепости почти месяц, потом освободили и даже дали очистительный аттестат. «Обходились благородно, не как при блаженной памяти Ст. Ив. Шешковском»⁵³.

«Северная пчела» поместила известие о происшествиях.

Высокоторжественный день восшествия на престол законного императора был омрачен неповиновением двух рот Московского полка, которым начальствовали «семь или восемь обер-офицеров» и «несколько человек гнусного вида во фраках». Правительство вынуждено было прибегнуть к силе.

Такова была официальная версия, продиктованная свыше.

Греч и Булгарин собственными руками должны были чернить своих недавних литературных друзей. Рылеев, целовавший Булгарина вечером 14 декабря, утром 15-го стал «человеком гнусного вида во фраке».

Железные законы управляли поведением политических конформистов. Неизвестно, как бы высказывались Греч и Булгарин, будь они предоставлены собственной воле. Но издатели «Северной пчелы» более не принадлежали себе.

Рылеев знал это и мог предсказать путь Булгарина. Он говорил ему полушутя: «Когда случится революция, мы тебе на „Северной пчеле“ голову отрубим». «Ты не Пчелу, а Клопа издаешь»⁵⁴. С Булгариным еще можно было шутить так, по короткости отношений; с Гречем держались осторожнее. Рылеев и Николай Бестужев предупреждали Михаила Бестужева, что Греча надо остерегаться: как бы не оказался шпионом. Михаил однажды по молодости лет прямо высказал Гречу такое предположение. В «Пчеле», в «Северном архиве» печатались статьи «в духе правительства»; за неделю до восстания появилась статья «Бедный Макар», где «монархические чувства и правосудие русских государей» были «выставлены в самом блестящем виде», – так оценивал это произведение Бенкендорф⁵⁵. И все же.

И все же Рылеев осторожно выводил у Греча, как он отнесся бы к обществу, действовавшему для общего блага, и на прокофьевских обедах при нем велись дерзкие речи. Все же и Греч, и Булгарин виделись с заговорщиками еще в самый день восстания, а Булгарин прощался с Рылеевым перед самым приездом жандармов. Все же в Петербурге передавали шепотом, что Греч и Булгарин – отчаянные заговорщики – печатали у себя прокламации и убили наборщика, который мог их выдать. О них осведомлялась Следственная комиссия, и даже сам новый император якобы спрашивал Бестужева, не участвовали ли журналисты «в деле». Бестужев отвечал отрицательно.

И все же, наконец, Воейков составил анонимный донос и разослал его по Петербургу и Москве. «Сучья обрублены; дерево остается»; известные возмутители и злодеи, Булгарин и Греч, сумели укрыться от преследований правосудия. Донос не имел реальных последствий, но доставил «возмутителям» несколько весьма неприятных дней⁵⁶.

Не только положение – самая свобода петербургских журналистов, казалось, висела на волоске.

В эти дни, перепуганные насмерть, они стремятся как можно скорее выказать свою благонамеренность.

15 декабря Греч пишет записку о причинах возмущения 14 декабря.

Булгарин «очень умно и метко» описывает в полиции приметы Кюхельбекера.

Последние книжки «Сына отечества» и «Северного архива» задерживаются по причине «жестокой и продолжительной болезни» издателя. «У Греча и Булгарина болит живот», – язвит Измайлов.

30 декабря Булгарин пишет Ф. Глинке отчаянное письмо, умоляя написать к новому году «маленькие стишки» «в честь нашего доброго, кроткого и мужественного царя Николая». «Такой царь стоит вдохновения поэта добродетельного». И стихи Глинки появляются в «Северной пчеле»⁵⁷.

Может быть, они в чем-то и помогут Булгарину и Гречу – но Глинке они не помогут. Он знал обо всем – и еще 12 или 13 декабря был на квартире Рылеева. Когда слышались слова: «Ну вот, приспевает время», он сказал только: «Смотрите вы, не делайте никаких насилий». Он монархист, конституционалист – таких ссылают в Олонецкую губернию из снисхождения к их миролюбию.

Идет суд – над теми, кто участвовал, над теми, кто знал, над теми, кто не донес.

Никаких документов за эти дни кружок Дельвига не оставил. Он тоже под подозрением, хотя и меньшим, чем Булгарин и Греч, – но зато ему никогда не удастся очиститься. Обвинить его, правда, не в чем – хотя имя Дельвига нет-нет да и мелькнет на следствии и внесено в «Алфавит декабристов». Но невысказанные в 1826 году подозрения прорвутся через четыре года, когда Бенкендорф заявит Дельвигу, что у него собирается кружок, настроенный против правительства.

В запальчивости Бенкендорф сгустит краски. Дельвиг не был политиком – ни раньше, ни позже.

8 января 1826 года он пишет Баратынскому, что петербургский Парнас «погибает от низкого честолюбия. И дело ли мирных муз вооружаться пламенниками народного возмущения? Бунтовали бы на трагических подмостках для удовольствия мирных граждан.»⁵⁸.

Осуждение? Да, конечно. В письме нельзя было бы писать иначе, но можно было не писать вовсе.

Впрочем, есть и еще одно письмо, посланное не по почте, – письмо Софьи Михайловны Дельвиг к А. Н. Семенову от 22 декабря. «Я не могу писать тебе о том, о чем хотела бы поделиться с тобою: об этом надо *говорить*... Все письма теперь распечатываются... В числе многих молодых людей, замешанных в это дело, находятся также Рылеев и Бестужев и бедный Кюхельбекер, которого я жалею от всего сердца. Кюхельбекер еще не разыскан до сих пор. Дай бог, чтобы не открыли. Я трепещу, что его схватят. Мы были в большой тревоге в продолжение всех этих дней.»⁵⁹.

Гнусного вида люди во фраках. Кюхельбекер, Иван Пущин, Левушка Пушкин.

Лев Пушкин был с восставшими; кто-то дал ему в руки отнятый у жандарма палаш.⁶⁰

В семье Дельвигов царил «большая тревога».

В январе 1826 года альманах был уже почти собран. Часть листов была в корректуре, другую переписывала Софья Михайловна. Дельвиг ждал обещанной статьи Дашкова.

Дашков медлил – но не от лени, как думала неискушенная Софья Михайловна. На прошлую статью его о Серальской библиотеке возражал правнук того Скарлата, на которого Дашков ссылался как на основной источник своих сведений о книгохранилище. Дашков готовил ответ и запросил в Одессе дополнительные справки. Ожидая их, он просил отсрочки – на месяц, потом на три недели. Это происходило уже 14 января. Вторую статью – «о поклонниках» он обещал непременно доставить 1 февраля поутру.

Дельвиг ждал терпеливо.

1 февраля Дашков прислал первые два листа рукописи и сообщил, что окончательный ответ из Одессы вот-вот придет⁶¹.

Цензурное разрешение на книжке было поставлено 25 февраля. Она опаздывала безнадежно.

То, что Дашков поздно «выпростался», говоря словами Дельвига, было лишь одной из причин опоздания «Северных цветов».

Как бы ни декламировал Дельвиг против тех, кто вооружался пламенниками народного возмущения, собственная его книжка носила на себе отблеск времени, заставлявшего умы хлопотать. И сам же он намеревался печатать в «Цветах» пушкинского «Андрея Шенье», где призыв к свободе звучал с такой силой, что в политических процессах подекабрьских лет его прямо

связывали с «народным возмущением» 14 декабря. Дельвиг, конечно, знал, на что шел, когда просил у Пушкина именно эту элегию, содержащую стихи совершенно бесцензурные.

Эту пушкинскую поэтическую автобиографию ему не довелось напечатать – но он поместил другую, отрывок из «Цыган» об Овидии:

Царем когда-то сослан был
Полудня житель к нам в изгнание...

И отрывок из «Алы» Языкова, прославляющий ливонские свободы, что мечом защищали против королей, и стихи Вяземского, за которые приходилось бояться, что цензура их не пропустит...

Цензура, действительно, задержала какие-то стихи. 8 января Дельвиг писал Баратынскому, что кое-чего напечатать не смог, и причины изъяснит Муханову. Три месяца спустя он рассказал Вяземскому, что после 14 декабря цензоры вновь взялись за альманах и выбросили уже напечатанные стихи, в том числе «Коляску» Вяземского. Опасались уже не только мыслей, но и слов; строчки «что я не подлежу аресту» и «воздушные Кесари» погубили все стихотворение⁶².

Заполнять пустоты было нечем. Правда, Языков отдал ему еще «Две картины» – из альманаха «Звездочка», который был арестован и сложен в кладовой Генерального штаба. Один экземпляр остался у Сомова; его выпросил Егор Аладьин и перепечатал из него сомовского «Гайдамака» и «Кровь за кровь» А. Бестужева (под названием «Замок Эйзен»). Это не прошло ему даром: возникло цензурное дело, по счастью, не имевшее для альманашника серьезных последствий⁶³.

В «Северных цветах» остались стихи и проза Ф. Глинки, подписанные полным именем, анонимные стихи Кюхельбекера «Пощада певца» и повесть «Трактирная лестница», принадлежавшая никому не известному Алексею Коростылеву.

То, что Алексеем Коростылевым был Николай Бестужев, что «Трактирная лестница» была последней редакцией новеллы «Отрывок из дневника флотского офицера 1815 года»⁶⁴ и, кажется, вообще последним, что написал Бестужев перед восстанием и арестом; что Дельвиг сохранил все это в «Цветах», скрыв имя автора от цензуры и литературного мира, – обо всем этом узнали ровно через сто лет.

Глава III БЕЗВРЕМЬЕ

Весна 1826 года была тяжелой. В январе – начале февраля Дельвиг заболел, восемь дней продолжалась лихорадка. Только к середине февраля он стал на ноги; но теперь болезнь настигла Гнедича. Мнительный и капризный, он неделями не выходил из комнаты. Врачи решительно не знали, чем помочь. Боялись, что ему не удастся окончить перевод «Илиады».

Сильно ухудшилось здоровье Карамзина. К концу марта стало совершенно ясно, что в Петербурге ему не выздороветь: начались приготовления к отъезду в Италию.

Жуковский, постоянно навещавший Карамзина, сам был тяжело болен и готовился ехать в Эмс на воды. Подозревали склонность к водянке, он уже не мог взойти по лестнице, не мог двинуться без одышки. Он уехал 11 мая. Перед отъездом он написал рескрипт Карамзину от имени нового императора. Николай подписал: это была «милость», оценка заслуг, устройство материальных дел – признание по существу посмертное, все это знали. Об этой милости будут отныне говорить чуть что не полстолетия, о том, что она была выхлопотана, предпочтут молчать.

И как будто по заказу, в марте заболевает самый деятельный член дельвиговского кружка – Плетнев. Плетнев сроду ничем не болел – а теперь исхудал, побледнел, глотал лекарства по две ложки через час и готовился тоже уехать на какие-нибудь воды. Он не оставляет, однако, дел и еще выполняет пушкинские комиссии, даже замысливает издание «Цыган»¹.

В этих-то условиях Дельвигу нужно было приниматься за новую книжку «Северных цветов», которую к тому же он был намерен теперь издавать один, без помощи Сленина².

Это стало возможно только теперь; годом раньше Дельвиг не решился бы на это, если бы у него и возникла такая мысль.

Прежде всего, у него был теперь издательский опыт и был надежный помощник – Плетнев, уже издавший стихотворения Пушкина и поэмы Баратынского. Еще существеннее было то, что «Полярная звезда», а затем и «Северные цветы» приучили читателей к альманахам; число тех и других росло от года к году. И было еще третье, уже драматическое обстоятельство, которое ставило «Северные цветы» на первое место среди альманашных собраний. У них больше не было достойного соперника.

«Полярная звезда» закатилась. Все лучшее в русской поэзии отныне сосредоточивалось в дельвиговском альманахе.

Теперь – к несчастью – опасаться ему было некого.

22 мая 1826 года скончался Карамзин.

Вокруг кружка Дельвига увеличивалась пустота. С Карамзиным он никогда не был связан особенно тесно, но все же это было еще одно выпавшее звено. Люди уходили по-разному: умирали, отправлялись в ссылку, уезжали, замыкались дома, в семье, – но все уходило.

Плетнев все не поправлялся, он жил за городом, на Кушелевой даче, и Дельвиг видел его редко. Гнедич тоже жил на даче, в бывших комнатах Батюшкова, умершего заживо. На окошках оставались еще следы руки сумасшедшего поэта: «Есть жизнь и за могилой» – и другая надпись: «Ombra adorata», возлюбленная тень. Гнедич часами смотрел на эти строки. Батюшков был когда-то его другом.

Баратынский женился и замолк. Александр Тургенев был в Петербурге, но почти ни с кем не общался. Двойное горе легло на него: смерть Карамзина, осуждение брата.

Не было ни Пушкина, ни Жуковского.

Живым, кажется, был один Вяземский. Он приехал 24 мая, едва успев на погребение Карамзина. Он был подавлен, но не сломлен. В этот свой приезд он в первый раз зашел к

Дельвигу. Он ехал в Ревель с осиротевшим семейством Карамзиных и с Пушкиными; перед отъездом он успел написать письмо Пушкину, советуя вновь обратиться к царю с обещанием держать язык на привязи и проситься для лечения в Петербург или за границу³.

В эти месяцы Дельвиг писал мало.

В «Северных цветах на 1827 год» появилось только одно его новое стихотворение – «В альбом А. Н. В-ф», написанное 20 января. «А. Н. В-ф» была Анна Николаевна Вульф, старшая дочь приятельницы Пушкина П. А. Осиповой, владелицы тригорского имения, – одна из тех девушек, которые были так заинтересованы бароном во время его визита в Михайловское. Тогда же укрепились дружеские отношения Дельвига с Прасковьей Александровной и всем семейством – и общая их привязанность к Пушкину сыграла здесь не последнюю роль. Еще в июне 1825 года Дельвиг писал Осиповой, что вышлет в Ригу альбом Анны Николаевны со стихами Баратынского и своими, а осенью 1826 года А. Н. Вульф была в Петербурге и познакомилась с Софьей Михайловной⁴. Вероятно, тогда же Дельвиг и вписал в ее альбом свое полушутливое посвящение – на первых же страницах, вслед за выписками из Пушкина и Жуковского.

Наряду с этими стихами – спокойными и безмятежными – Дельвиг печатает в альманахе и другое стихотворение, выбранное из старого запаса – «Гений-хранитель (Сновидение)» – 1820 или 1821 года. В 1826 году они получали совершенно иной смысл, нежели пятью годами ранее. Обремененный душевными страданиями герой во сне видит себя покрытым ранами и в цепях, над ним рыдает светлый вестник богов. Не один гений-хранитель, сами боги бессильны перед законами мощного рока и парками, прядущими нить человеческой жизни, – и страдание невинного потому неизбежно.

Каковы бы ни были намерения автора, в эпоху аллюзионной поэзии эта аллегория приобретала зловещий и конкретный смысл. Вряд ли она была общественным выступлением, но она отражала общественное мироощущение.

Два других стихотворения Дельвига в альманахе оказывались поэтическим апофеозом дружбы. Одно из них – «Дифирамб (На приезд трех друзей)» было написано в августе 1821 года, когда съехались вместе Баратынский – из финляндской ссылки, П. Л. Яковлев – из Бухары и Кюхельбекер – из Германии. «Три гостя, с детства товарищи, спутники.» Здесь уже был прямой умысел: рано или поздно книжка альманаха должна была дойти до Кюхельбекера, ныне томившегося в Шлиссельбурге. «Любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные затворы.»

Четвертое и последнее стихотворение было той самой посвященной Баратынскому идиллией «Друзья», которую не удалось провести сквозь цензуру в 1825 году.

«Союз поэтов» продолжал существовать.

Дельвиг отказался на этот раз от тематической подборки своих стихов, но устойчивые литературные интересы кружка все же продолжали заявлять о себе. Книжка открывалась «Письмом V» – продолжением статьи Григоровича о русских художниках – и тем самым как бы формально продолжала «Северные цветы на 1826 год». «Сербские песни» Востокова связывали ее и с первым выпуском альманаха. На этот раз Востоков дал четыре первоклассные песни, в том числе знаменитую «Жалобную песню благородной Асан-Агиницы» – ту самую, которая так заинтересовала Мериме, Гете и которую в 1835 году начал переводить Пушкин. И здесь же появляется один из наиболее значительных опытов русской «народной идиллии» – «Рыбаки» Гнедича.

Идиллия Гнедича отнюдь не была новинкой: она была напечатана дважды еще в 1822 году, и тогда же о ней писали с похвалой Бестужев и Плетнев. Гнедич совершенно намеренно поэтизировал русский национальный быт и притом быт современный, уравнивая его в правах с античным бытом феокритовских идиллий. Эти эстетические задачи были очень близки декабристскому крылу «соревнователей» – и здесь с ними совершенно сходилась Дельвиг. Поэтому,

когда Гнедич вернулся к своим «Рыбакам» и усовершенствовал текст, Дельвиг воспользовался случаем и напечатал новую редакцию, приложив к ней картинку.

Наконец, в книжке были и антологические стихи – «Наяда» Баратынского – перевод из Шенье – и четыре «антологических» элегии Плетнева. «Садовник», «Рассудок и страсть», «Воспоминание» и «Ночь». Это были последние по времени плетневские стихи и его последнее увлечение: от элегии-медитации, элегии-размышления он шел к «элегическому фрагменту», как у Пушкина или Баратынского.

Иван Иванович Козлов дал два стихотворения: «Подражание Шатобриану (Отрывок, посвященный Александру Ивановичу Тургеневу)» и «Лунная ночь в Кремле». Первый из них получил потом название «Разорение Рима и распространение христианства». Второе же произведение носило подзаголовок «Из поэмы Наталья Борисовна Долгорукая, посвященной В. А. Жуковскому». К нему Дельвиг сделал примечание: «Эта маленькая поэма, начатая в 1824 году, через несколько месяцев будет окончена и напечатана».

Дельвиг имел все основания опасаться аллюзий, которые возникали сами собой. Прямая связь поэмы Козлова с рылеевской думой о Наталье Долгорукой бросалась в глаза. Отрывок в «Северных цветах», конечно, был невинным пейзажным описанием – но далее в полном тексте шла сцена явления призрака: казненный Иван Долгорукий перед женой поднимает за волосы свою отрубленную голову. Если все это было написано в 1826 году – о печатании поэмы не могло быть и речи. Нам неизвестно, когда Дельвигу пришла мысль сделать свое примечание – не в самом ли начале 1827 года, когда уехали в Сибирь Волконская и Трубецкая, и самое имя Натальи Долгорукой читалось как прозрачный намек на жен, оставшихся верными жертвам самовластья? В 1827 году, когда поэма готовилась отдельным изданием, Жуковский очень беспокоился о ее судьбе – и было отчего.

В дельвиговском альманахе сохранялась еще атмосфера додекабрьского времени. Сейчас, когда все должно было меняться, он то и дело становился против течения – то вольно, то невольно.

Федор Туманский отдал сюда «Птичку» и элегию «18 апреля». В «Птичке» слышались отзвуки поэтических аллегорий о свободе. Туманский подражал пушкинской «Птичке», в которой южный изгнанник радовался, что может доставить свободу хотя одному живому существу. Дельвиг тогда тоже создал свою вариацию – «К птичке, выпущенной на волю». Туманский запоздал, но его стихи зато выиграли в популярности: его «Птичка» осталась в памяти поколений читателей, и современники были убеждены, что он превзошел не только Дельвига, но и Пушкина. Лев Пушкин вписал эти стихи в альбом Анны Вульф⁵.

Цензор П. И. Гаевский предлагал исключить из «Цветов» стихи «Сон тирана (Из Брета)» и сделать купюры в «Подражаниях корану» Ротчева, в послании Богдановичу и «Телеме и Макаре» Баратынского. Главный цензурный комитет определил: запретить семь стихов в послании, а «Сон тирана (Из Брета)» заменить на «Сон злодея (Из Садия)»⁶.

«Сон тирана», ныне «злодея», был подписан «1. 8.», т. е. «А. И.», – не Илличевским ли? Он снабдил Дельвига еще прозаическим анекдотом и четырьмя «легкими стихотворениями» в обычном своем роде. По одному стихотворению дали М. Яковлев, Великопольский; два перевода с немецкого – Платон Ободовский. Все это были имена, уже известные нам по прошлым книжкам; но к ним добавились и новые.

Список новых имен открывался неожиданно Фаддеем Булгариным.

Мы оставили Булгарина в тот момент, когда он лихорадочно пытался обелить себя перед новым правительством.

Он делает все новые и новые шаги. Он действует через М. Я. Фон-Фока, родственника Греча, ставшего правой рукой Бенкендорфа, он пишет дежурному генералу Потапову, он оправдывается, объясняет, указывает на свои статьи, в которых проповедовал чистую нравственность и любовь к престолу.

Он составляет две записки – «О цензуре в России и о книгопечатании вообще» и «Нечто о Царскосельском лицее и о духе оногo». В записках содержались рекомендации, следуя которым правительство должно было безраздельно господствовать над общественным мнением.

Следовало искоренять европейский либерализм, искоренять убеждением и воспитанием, употребляя «благонамеренных писателей и литераторов». Последних надлежало привлекать к себе, направляя их перо и снимая бессмысленные цензурные запреты. Дайте невинную пищу умам – и вы отвлекете их от политики. «Должно знать всех людей с духом лицейским, наблюдать за ними, исправимых ласкать, поддерживать, убеждать и привязывать к настоящему образу правления.»

Либерализм свил себе гнездо в высшем сословии – среди людей богатых и знатных, отравленных французским воспитанием и честолюбивыми стремлениями. Истинной же опорой правительства является «среднее сословие» – достаточные, но небогатые дворяне, чиновники, богатые купцы, промышленники, частью мещане. К ним-то и должно адресоваться правительство и «благонамеренные литераторы», формируя общественное мнение.

Это была целая программа «официального демократизма», которой отныне будет следовать Булгарин в «Северной пчеле» и в своем «нравственно-сатирическом романе»⁷.

Записки Булгарина иногда рассматривались как прямые доносы, но это неверно. Он не называл никаких имен, неизвестных правительству, он даже пытался извинить лицейских преподавателей, которые не имели сил справиться с веяниями, идущими извне. Записки имели назначение не карательное, а охранительное.

Но как бы ни рассматривать их, они были решительно враждебны тому «лицейскому духу», который продолжал сохраняться в дельви-говском кружке, – и не вызвали в нем возмущения лишь потому, что о существовании их никому из литераторов не было известно.

Булгарин делал отчаянные усилия выскользнуть из-под дамоклова меча, но старые связи напоминали о себе ежеминутно. На гауптвахте Главного штаба сидел арестованный Грибоедов и писал такие записки, от которых и вчуже становилось страшно. Он просил газет, книг; ему нужны были деньги. Он научал Булгарина, как к нему проникнуть, и посмеивался над его «трусостью». Булгарин исполнял комиссии.

Он был искренне привязан к Грибоедову и даже готов был идти на какой-то риск, что вообще ему было не свойственно. Он любил по-своему и Рылеева, и Бестужева, и Петра Мухомова, и Корниловича. Потеря их была ему чувствительна. Как коммерсант наполовину, он скорбел вдвойне: с ними его издания лишались первоклассных сотрудников.

Книжки его журналов запаздывали. Булгарин с Гречем работали в поте лица. С ними работал и Орест Сомов – единственный, кто остался из редакционного кружка «Полярной звезды». Сомов не имел никакого состояния и жил только литературным трудом. Целыми днями он читал корректуры, писал критики, переводил и еще умудрялся писать повести. При всем том сотрудников не хватало.

Булгарин взбешен, раздражен – и неустойчивостью своего положения, и уменьшением числа подписчиков, и журнальными неудачами. В июне он обрушивается на Греча, обвиняя его в коммерческой несостоятельности⁸. Греч проглатывает пилюлю: он зависит от Булгарина; лишь в письмах третьим лицам он замечает язвительно, что на соратника его напало «периодическое иступление, в котором он лает на всех и грызется со всеми». Греч исповедует теперь принцип: сиди тихо; он тихо сидит перед открытым окном своей дачи на Черной речке и предаётся утешительным мечтаниям о будущем благоденствии России под эгидой доброго государя.

В этом смысле он пишет Федору Николаевичу Глинке, не скупясь на похвалы царскому семейству и прося у ссыльного новых стихов – на коронацию.

Письмо – демонстрация безграничной преданности престолу; так лучше – и для корреспондента, и для адресата.

В этих условиях лучше всего заключить всеобщий мир.

С 1827 года отзывы «Северной пчелы» о прежних противниках – Баратынском, тем более о Жуковском становятся все лояльнее и благосклоннее. Летом этого года Булгарин делает первые шаги к примирению с Николаем Полевым⁹.

С Дельвигом же и прямой борьбы у него не было, была интрига, конкуренция.

Булгарин дает в «Северные цветы» очерк – «Развалины Альмодавские» из своих старых испанских впечатлений.

Одновременно в дельвиговский альманах приходит Орест Сомов.

Еще в июне отношения его с Дельвигом были прохладны: вероятно, сказывались следы прежних литературных распрей.

«...С Дельвигом я иногда выдаюсь, но, не знаю почему, до сих пор мы не могли сблизиться», – писал он в одном из писем¹⁰. Стало быть, потепление отношений приходится на вторую половину 1826 года. Во всяком случае, в «Северных цветах» появилась его «малороссийская быль» «Юродивый» – небольшая повесть из быта и преданий Малороссии, его родины. Сомов был одним из зачинателей этой темы, которой предстояло достигнуть своей вершины в «Вечерах на хуторе близ Диканьки».

Прежние «вкладчики» «Полярной звезды» шли в альманах Дельвига.

И что было особенно важно – они доставляли Дельвигу прозу: беллетризованный очерк, новеллу – то, в чем постоянно нуждались альманахи – все альманахи, исключая, быть может, «Полярную звезду». И Булгарин, и Сомов умели писать именно альманашную прозу – и в этом сказывались навыки профессиональных литераторов. Сомов был даровитым прозаиком, но все его замыслы большого романа остались незавершенными: он работал всю жизнь для журналов и альманахов, которые требовали малых прозаических форм.

И еще один человек из кружка «Полярной звезды» появился в «Северных цветах». Это был уже знакомый нам Василий Никифорович Григорьев. Восстание и все последовавшие события не коснулись его – во всяком случае, внешне; в поздних записках он с некоторой боязнью вспоминал о своей короткости с людьми, которые, как оказалось, замыслили произвести государственный переворот. Когда эшафот и каторга поглотили его старших покровителей и учителей, он сохранил связи с Булгариным и Сомовым – и Дельвигом. Он дал ему стихотворение «Бештау», навеянное впечатлениями от Грузии, где он побывал весной 1825 года; Кавказ теперь питал его творчество, и с Грузией же окажется связанной его биография ближайших лет¹¹.

В «Северных цветах» собирались остатки рассеянного Вольного общества любителей российской словесности.

Председатель же общества, Федор Николаевич Глинка, испытавший арест, суд и высылку, сидел в это время в Петрозаводске советником Олонецкого губернского правления, и приказные хлопоты не заглушали в нем невыносимой тоски. Мир его рушился, и ему начинало казаться, что «любви и дружества уже не стало на земле». Оставались письма, стихи и воспоминания. Письма становятся для него беседой, визитами. Вместо живых людей он населяет свою комнату портретами: у него есть уже гравированный портрет Крылова; он просит таких же от Гнедича и от Греча. В этом иллюзорном мире нарисованных слов и нарисованных лиц он ведет свою иллюзорную жизнь – в стихах: он заново переживает тюрьму, суд, опровергает клеветников, спасается от доносчиков, жалуется и исповедуется.

Библейские пророки его псалмов уже не гремят обличениями, они томятся на чужбине, под снежными бурями Прионежья, они ждут, когда исполнятся сроки, их окружают «ловители», готовые кандалы.

Эти стихи, столь личные, столь субъективные, попадая в печать, становились фактом общественным. В них отсвечивала судьба автора, принадлежавшая истории общества.

А в печать они проникали. По счастью, он не был осужден формально и ему позволялось печататься. В ноябре 1826 года Греч письмом пригласил его к сотрудничеству в «Сыне отечества и Северном архиве». Обрадованный Глинка поспешил ответить согласием – но Греч замолк. Глинка ждал долго и тщетно, но никаких объяснений не последовало. Иллюзия рухнула – и это было для него особенно тягостно. Он считал, что над ним тяготеют три несчастья: бедность, политическое унижение и одиночество; сотрудничество в петербургском журнале было бы если не избавлением, то облегчением.

Связи с альманашиками не приносили денег, но скрашивали одиночество. Глинка всегда охотно откликался на просьбы, тем более сейчас. «Если увидите Дельвига и Плетнева, – пишет он Гнедичу, – поклонитесь то-же им. Барон что-то долго уж не пишет». Стало быть, Дельвиг писал уже Глинке-ссылному – но письма эти не дошли до нас¹².

В «Северных цветах на 1827 год» есть несколько произведений Глинки: два в прозе («Чудесная сопутница», «Осенние дни»), «аполлог» из Гафиза «Нетленные глаза» и маленькое полушуточное «Приключение». Все эти вещи могли бы быть написаны еще до несчастий, постигших Глинку. Может быть, так оно и было: ссылному не менее Греча нужно «сидеть тихо», не страдать и не жаловаться. Уместно ли публиковать в Петербурге тюремные стихи?

Глинка «сидит тихо» – до поры до времени.

В январе 1827 года в Главный цензурный комитет пересылается по заключению цензора П. И. Гаевского его стихотворение «Сон», предназначенное для «Северных цветов», где «поэт представляет мать свою явившуюся ему в сновидении и предсказывающею со слезами будущий бедственный жребий его». Стихи, по заключению министра, не подлежали напечатанию: «подписанное под стихотворением имя сочинителя, замешанного в происшествиях 1825 года», могло «подать повод к различным заключениям»¹³.

Глинка был последним из могикан «Вольного общества».

Оно вырастило плеяду поэтов и прозаиков, познакомило их между собою, создало печатные органы и в недрах своих зародило два альманаха. Потом оно распалось на кружки – и кружок Дельвига был теперь единственным оставшимся, к которому тянулись литературные силы.

В «Северных цветах на 1827 год» есть стихи, написанные начинающими поэтами. Одним из них был Валериан Павлович Шемиот, принесший в альманах одну переводную элегию из Парни. Он был в каком-то родстве с Пушкиным: во всяком случае Л. Н. Павлищев, сын Ольги Сергеевны, называет его двоюродным братом своей матери¹⁴.

Двадцатилетний Павел Шкляревский отдал в «Цветы» перевод «Der Tanz» Шиллера («Пляска»). Этот сын священника из Лубен был даровитым поэтом и подавал блестящие надежды как филолог. Он только что окончил петербургскую гимназию и поступил в университет; он знал несколько языков и питал особое пристрастие к немецкой поэзии и русским «архаистам»; шиллеровские дистихи выходили у него торжественными и важными, насыщенными славянскими речениями.

Его заметили А. Е. Измайлов и граф Хвостов, вероятно, почувствовавший в юном поэте интерес к классической традиции; когда Шкляревского в числе наиболее преуспевших студентов отправляли в 1828 году в Дерпт, в Профессорский институт, он писал тамошнему профессору, своему знакомому и тоже «классику», В. М. Перевошикову: «Я знаю, что вы очень озабочены приготовлением лекций для студентов разных наших университетов, которые назначаются после вашего в Дерпте курса отправиться в чужие края, в том числе будет некто Шкляревский, которого я знаю с очень хорошей стороны и при отъезде его не премину вам рекомендовать особливим письмом». И спустя некоторое время: «.снова прошу не оставить покровительством вашим студента Шкляревского». Перевошиков внял рекомендации и не пожалел об этом; 6 января 1829 года Хвостов вновь писал Перевошикову о своем протекже, посылая и для того, и для другого свою оду с надписью: «Очень доволен, что слышу от Вас о

сем молодом питомце наук похвальные вести. Я всегда от него ожидал доброго поведения и прилежания к наукам, и теперь, имея Ваше о нем одобрение, остаюсь покоен.»

Шкляревский не появится больше на страницах «Северных цветов». Из Дерпта он не вернулся. Страшное нервное переутомление, простуда и начавшийся туберкулез свели его в могилу двадцати четырех лет¹⁵.

Люди неизвестные или почти неизвестные, без связей, без протекции в литературном мире. Они появляются на вечерах у графа Хвостова: меценат любит молодежь, а может быть, ищет популярности. Они приносят свои первые опыты Воейкову, которому нечем наполнять свои издания и который ищет сотрудников, не пренебрегая ничем и никем. «Новости литературы» не пережили 1826 года – но в следующем же году Воейков затевает «Славянин», другое журнальное приложение к «Русскому инвалиду». Как и ранее, он пишет жалобные письма и просит хоть что-нибудь на зубок новому журналу; он льстит и христарадничает, почти не скрывая иронической ужимки. Он печатает и Шкляревского – в том же 1827 году; а еще ранее, в старых «Новостях литературы», и двух других поэтов, имена которых появляются в «Северных цветах на 1827 год» – Ивана Балле и Александра Николаевича Глебова.

Первый из них – восторженный дилетант, некогда протеже Плетнева, еще в 1817 году ободрившего его письмом. Почти через пятнадцать лет он будет писать Плетневу, добиваясь помещения в «Современнике» какой-то своей статьи и называя Пушкина, Баратынского и Жуковского не иначе как по имени-отчеству – в знак особого благоговейного уважения и в то же время интимности¹⁶. Второй – литератор-полупрофессионал, какие стали появляться на рубеже 1830-х годов, сменив собою любителей – «аматоров» предшествующего десятилетия. Его описал В. Бурнашев, встречавший его у Воейкова в 1830-е годы: молодой поэт, в черной паре, в очках, «сам ярко-розовый, рыжеватенький, с узенькими бакенбардочками», застенчивый, как девушка, и хватающий за пуговицы знакомых во время разговора. Глебов был провинциалом, по-видимому, из Курска и приехал в столицу в 1824 или в 1825 году. Тогда же его впервые и заметил Воейков. В исходе октября 1826 года Глебов ездил со служебным поручением на север, в Олонецкую и Новгородскую губернии. С этого времени северные безотрадные пейзажи входят в его стихи; элегические мотивы изгнания и заточения придают им однообразно-унылый колорит, навлекший на него цензурные подозрения; наводили даже справки, не тот ли это Глебов, который выходил на Сенатскую площадь, и, узнав, что не тот, все же запретили стихи. Глебов не растерялся и вновь подал их – уже другому цензору и для другого издания, – и они прошли благополучно. В 1830 году история повторилась: запретили его послание «К брату», начинавшееся словами: «Ты прав, брат, сердце воли просит.», через два года Глебов напечатал и это послание в собственном альманахе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.